



Folk-art-net: новые горизонты творчества. От традиции — к виртуальности: Сб. статей.

М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2007. 200 с.



Интернет и фольклор: Сб. статей.

М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. 320 с.

Ощупывая Интернет

В 2004 г. журналист Сергей Кузнецов [Кузнецов 2004: 10] сравнил исследование Интернета с восточной притчей о незрячих мудрецах, которые ощупывают слона и пытаются создать общее впечатление о том, что он из себя представляет. Но из-за того, что ощупывают они разные части слона, а в целом его увидеть не могут, их описания не совпадают и даже противоречат друг другу. Данное сравнение кажется нам весьма удачным. Действительно, Интернет предстает и перед обществом в целом, и перед современным исследовательским сообществом в частности как нечто неохватное, многообразное и с трудом поддающееся однозначной оценке. У каждого свое оценочное суждение о всемирной Сети, и это суждение возникает как на основе личностных особенностей оценивающего, так и на основе того сектора Интернета, который ему лучше известен. Задача создания общей

Дмитрий Вячеславович Громов

Институт этнологии
и антропологии РАН /
Государственный республиканский
центр русского фольклора,
Москва
gromovdv@mail.ru

картины осложняется еще и тем, что исследуемый объект постоянно изменяется, суждения о нем стремительно устаревают.

Попытки исследования компьютерного фольклора начались еще до возникновения Интернета, в 1983 г. [Fox 1983], однако при обилии публикаций на эту тему сохраняется та же ситуация: исследования фрагментарны, не ведут к обобщениям и напоминают «ощупывание слона». Сделаем отсылку к исследованию М.Д. Алексеевского, который, просмотрев более ста публикаций об интернет-фольклоре на четырех языках, пришел к выводу, что большинство этих публикаций сводится к утверждению о том, что «интернет-фольклор есть» [Алексеевский 2010: 153].

Столкнувшись с такими новыми и необычными явлениями, как Интернет и интернет-фольклор, исследователи оказываются в затруднении, не имея ни методологии исследования, ни разработанной теоретической концепции. В результате они подходят к работе «кто как может», самостоятельно решая, *что* исследовать, *как* исследовать и каким образом интерпретировать полученные материалы. Происходит накопление эмпирического материала: каждый незрячий мудрец ощупывает свою часть «слона», составляя о ней свое частное суждение.

В описанной ситуации представляется полезным проанализировать, какие подходы разные исследователи выбирают для рассмотрения интернет-фольклора, каким аспектам этой обширной темы они уделяют внимание.

Для этого рассмотрим два издания, выпущенных Государственным республиканским центром русского фольклора.

Сборник «Folk-art-net: новые горизонты творчества» (далее FAN), вышедший в 2007 г., стал первой русскоязычной книгой, посвященной интернет-фольклору. Два года спустя вышел сборник «Интернет и фольклор» (далее ИФ). Оба сборника составлены из материалов, представленных на двух тематических конференциях ГРЦРФ.

Заметна разница концептуальной проработки книг. В FAN общая концепция продумана слабо, сборник является скорее «заявкой о намерениях» (хотя и вполне достойной), чем законченным продуктом. Это, видимо, объясняется тем, что издание готовилось к специализированной конференции и в него просто были включены накопившиеся на тот момент статьи по теме.

ИФ в концептуальном смысле проработан уже лучше (видимо, организаторы проекта освоились в материале). Сборник разбит на четыре раздела: «Миры фольклора: реальный и вирту-

альный», «Жанры интернет-фольклора», «Фольклор субкультур и сетевых сообществ» и «Интернет-фольклор и постмодернизм». Такая разбивка придает структуре сборника значительно большую конкретность (хотя упоминание «постмодернизма», конечно, требует от составителя пояснений).

В целом качество сборников нужно признать достаточно высоким, хотя наряду с действительно хорошими работами есть статьи и явно «проходящие». Впрочем, нужно признать неизбежным злом пестроту и неоднородность сборников, составленных из материалов, пришедших самотеком, а не сделанных специально подобранными авторами с учетом заранее продуманной концепции.

Если вернуться к теме «ощупывания слона», стихийность сбора материалов даже полезна, поскольку дает случайную выборку, позволяющую выявить набор подходов к теме интернет-фольклора разных авторов (их почти 50 человек). При всем многообразии представленных в двух сборниках материалов мы бы свели их к следующим направлениям.

1. Исследование субъекта виртуального творчества

Процесс коммуникации в Интернете объединяет реальных людей, сидящих перед мониторами. Они являются субъектами общения и бытования интернет-фольклора. Отдельной важной задачей является социологическое рассмотрение среды пользователей Интернета вообще и посетителей конкретных ресурсов в частности [FAN: В.В. Метальникова]. Однако для изучения интернет-фольклора более интересным является рассмотрение специфической для данной сферы формы конструирования субъектности.

В отличие от «реальной» коммуникации, при которой каждый участник, как правило, выступает под собственным именем и не скрыт той или иной маской, коммуникация в Интернете предполагает вариативность субъектов. Иначе говоря, участник коммуникации может дать о себе информацию адекватную, а может создать выдуманный образ или же вообще свести информацию о себе к минимуму. На настоящий момент наряду с интернет-пространствами, предполагающими адекватную самоидентификацию (социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники.ру»), существуют и пространства, предполагающие анонимность и игру с образом (сеть «Живой журнал», форумы). Это экзотическое свойство Интернета притягивает к себе внимание тех, кто пытается анализировать происходящее здесь.

Возможность надевать любую маску является частным случаем анонимности общения. «Пространство Сети предлагает человеку <...> возможность анонимного общения, образующего то единство, где человек начинает ощущать себя выразителем не индивидуально-личностных, а коллективистски-анонимных представлений» [FAN: А.С. Каргин, А.В. Костина].

В процессе сетевой коммуникации происходит формирование виртуальных личностей: как при «обычном сетевом общении» [ИФ: В.А. Поздеев, Е.В. Козлов], так и при специфических формах, например ролевых играх он-лайн [FAN: Т.Н. Суханова]. Конструирование виртуальных личностей — одна из форм игрового поведения. Помимо чисто эстетического и соревновательного удовольствия, свойственного игре, экспериментирование с образом способствует изменению личности, в частности через психотерапевтический эффект.

Одним из наиболее интересных примеров конструирования субъектности является создание филологом Ириной Сидоренко образа поэта Алекса Антея [ИФ: Т.Б. Дианова]. Был разработан имидж поэта, создана иллюзия его присутствия в Сети, от его имени было написано множество стихов и поэм, причем, по признанию самой Сидоренко, качество стихов выдуманного персонажа было значительно выше, чем качество стихов, написанных ею под собственным именем. Так игра с образом стала толчком для создания действительно самобытного литературного явления.

2. Язык общения

Интернет вырабатывает собственные языки общения. Так, объектом исследования не раз становились способы передачи информации через создание специальных символов (например, системы «смайликов», выражающих различные эмоции).

Анализу подвергается и используемый в сети сленг [ИФ: А.А. Петрова].

Еще более интересная тема — выработка в различных зонах Интернета собственных лингвистических систем для внутреннего общения. Так, на различных сайтах и в различное время возникали язык кашенитов, упячка, луркояз. Большинство этих языков осталось «игрой для своих», однако можно привести и пример широкого распространения такой игры, а именно широкое распространение в 2005–2006 гг. «языка падонкафф», или «албанского» языка. Рассмотрению этого языка посвящены статьи в первом из рассматриваемых сборников [FAN: Н.Г. Муравьева, И.Е. Мухаева, Ю.В. Таратухина].

3. Исследование движения информации и трансформации текста в Интернете

Как фольклорный текст существует в динамике и вариативен, так и тексты интернет-фольклора перемещаются в виртуальном пространстве, приобретая большое количество вариантов. Пути движения информации и изменения текстов и образов в Интернете — направление исследования, требующее достаточно серьезных технических умений работы в Сети. На настоящий момент можно указать несколько положений, утвердившихся в данной сфере исследования.

Тексты, оказавшиеся в Интернете, могут стать вариативными. При передаче текста по цепочке пользователей каждый может изменять и дополнять текст, особенно если это обусловлено его структурой: существуют «открытые» тексты, удобные для дополнения (например, списки), и «закрытые», не предполагающие дополнений [ИФ: Д.А. Радченко]. При этом тенденции к динамике и вариативности присущи не только текстам словесным: в Интернете процветает жанр фотожаб — изображений, которые дополняются и дорисовываются пользователями.

Тексты, помещенные в Интернете, могут существовать «в режиме “архивности” (единожды появившись в Сети, текст будет там присутствовать до тех пор, пока не будет удален, возможно, вместе с сайтом) и “актуальности” (как и в устном бытовании, текст проживает в Сети период, когда он более-менее активно распространяется, модифицируется, затем становится общеизвестным и выносится из активного обращения, архивируется)» [FAN: Д.А. Радченко].

Тексты, фиксируемые в Интернете, могут циркулировать и в виртуальной сфере (как электронный текст), и устно, выходя за рамки интернет-пространства [ИФ: М.Д. Алексеевский].

Рассмотрение движения информации предполагает исследование локальных пространств, на которые подразделен Интернет. Каждое из этих пространств обладает определенным набором признаков, параметров, отличающих их от других пространств и обуславливающих их выбор пользователями. Наиболее «обжитым» и удобным для исследования типом пространств сегодня являются индивидуальные электронные дневники (блоги), объединенные в социальные сети, например «Живой журнал» [FAN: В.В. Метальникова]. Создание таких сетей дает дополнительные возможности для циркуляции информации и разнообразных форм творчества (а также для отслеживания потоков этой информации).

Явление, близкое к Интернету, но строго ограниченное пространственно, — локальные сети, в частности закрытые корпоративные системы, созданные для ограниченной группы пользователей. Таким сетям свойственны специфические формы циркуляции информации, в том числе фольклорной [FAN: И.А. Перельгина].

4. Рассмотрение тематических коммуникативных узлов

Одна из важных особенностей Интернета и коммуникации в нем — возможность создавать сообщества по интересам. Человек, имеющий даже самую экзотическую сферу интересов, легко найдет в Сети единомышленников, живущих в разных концах Земли. Самопрезентации, возникающие в таких сообществах, могут стать интересной темой для исследования.

В рамках рассматриваемых нами сборников изучались сообщества, объединенные на основе совместного интереса к зооморфным образам [FAN: А.А. Чубур], оружию [ИФ: А.Б. Росляков], компьютерным играм [ИФ: Н.И. Васильева, П.И. Ефимов, Т.А. Золотова].

Распространенный тип виртуальных сообществ — объединения для занятия самодеятельным творчеством. В частности, так организовано литературное творчество в направлении fan fiction — творчества поклонников того или иного произведения. Ярким примером является фэндом (движение поклонников) романов о Гарри Поттере Дж. Роулинг [FAN: М.В. Каманкина].

Коммуникация по интересам позволяет создавать оригинальные, возможные только для Интернета формы, например, виртуальное кладбище [ИФ: Е.Л. Сверлова].

5. Поиск аналогии с произведениями традиционного фольклора

Для фольклористов, переходящих от изучения традиционных форм фольклора к изучению Интернета, логичными являются попытки уяснить, как традиционные формы преломляются в новых условиях. При фиксации тех или иных текстов ищется их аналог в устном творчестве. Правда, «сухой остаток» таких сопоставлений часто сводится к выяснению не сходств, а различий. Так, сравнение традиционной (уличной) и виртуальной торговой рекламы [ИФ: В.А. Ковпик, А.В. Кулагина] наводит на мысль об их кардинальном различии по всем параметрам.

В то же время можно указать случаи, когда сравнение форм было бы уместным, но не производится. Так, мемы [ИФ: И.В. Ксенофонтова] вызывают в памяти целый ряд фольклор-

ных явлений — от традиционных поговорок и пословиц до типичного для последних десятилетий речевого цитирования.

Довольно органично выглядят случаи, когда ищутся аналогии не с традиционными «деревенскими» фольклорными формами, а с формами, бытующими в современных городах. Виртуальное пространство легко обживают различные жанры студенческого фольклора [ИФ: М.М. Красиков], анекдоты [FAN и ИФ: О.Е. Фролова; ИФ: В.Е. Добровольская, А.А. Петрова], частушки [ИФ: А.А. Петрова], анкеты [ИФ: Е.Н. Горшкова], стихи-поздравления [ИФ: Г.И. Власова], «письма по цепочке» [ИФ: Ю.С. Ланская].

6. Литературоведческий анализ текстов, бытующих в Интернете

Тексты, помещенные в Интернете, могут рассматриваться как произведения литературы и подвергаться литературоведческому анализу, объектом которого может стать их архитектура, образный строй, стиль, мифопоэтический подтекст, интертекстуальность. Так, в одной из статей тексты, размещенные в Интернете, рассматриваются с точки зрения выявления в них цитат, квазичитат и аллюзий [ИФ: И.А. Седакова].

Объектом литературоведческого исследования может стать тот или иной набор текстов, объединенных по жанровому или какому-либо другому принципу. Например, помимо упомянутых выше анекдотов, частушек, стихов-поздравлений и проч., можно назвать интернетовские пародии на сказки [ИФ: А.А. Чикалова].

Исследовательский интерес вызывают понятия, которые свойственны исключительно интернетовским текстам, например мем [ИФ: И.В. Ксенофонтова], боян [ИФ: В.В. Метальникова] и др.

7. Рассмотрение неинтернетовских реалий, отраженных в Интернете

При всей своей специфичности Интернет является частью реального мира и отражает его в виртуальном пространстве. Неудивительно, что многие исследователи рассматривают тексты Интернета в совокупности с социокультурными явлениями, которыми они порождены. Например, по интернет-публикациям изучается формирование локальных текстов различных городов [ИФ: А.В. Захаров].

Фольклор (и вообще текстовая составляющая) является органичной частью бытования различных сообществ. Изучение

фольклорных текстов невозможно без рассмотрения реалий этих сообществ. В представленных сборниках статьи посвящены фольклору в субкультурах готов [FAN: Е.Л. Сверлова], толкинистов и поклонников анимэ [ИФ: В.Е. Добровольская], в ролевом движении [ИФ: Д.Б. Писаревская], в школьной [ИФ: Е.А. Самоделова] и студенческой [ИФ: М.М. Красиков] среде. Деятельность этих сообществ большей частью проходит «в реале»; то, что мы видим в Интернете, является лишь отражением этой деятельности. Распространенной ошибкой при исследовании интернетовских самопрезентаций «реально существующих» сообществ является их слепое отождествление с жизненными реалиями. То, как представители сообществ изображают себя в Сети (а тем более, то, как их представляют посторонние), не всегда соответствует действительности, и в некоторых статьях сборников заметно непонимание этого.

Интернет-фольклор может быть рассмотрен в контексте актуальных новостей, поскольку он активно реагирует на события, происходящие в общественной жизни [FAN: Д.А. Радченко].

Выявление виртуальной специфики тех или иных явлений — интересная исследовательская задача. Например, открытым остается вопрос о том, можно ли рассматривать как отдельное направление литературные произведения, публикуемые в Сети, или разница только в смене «бумажного» носителя на электронный [FAN: Ф.С. Капица, Т.М. Колядич].

8. Статьи прикладной направленности

Отдельную группу составляют статьи чисто прикладной направленности, например посвященные представлению материалов народной художественной культуры в Сети [FAN: Т.В. Кузьмина], сайтам музеев [ИФ: М.А. Зенина], компьютерной иконографии народных музыкальных инструментов [ИФ: Е.А. Зайцева], каталогизации сайтов, посвященных фольклору [FAN: Н.А. Джалилова].

В целом рассмотренные направления исследования (за исключением «прикладного», п. 8) укладываются в трехчастную схему «Субъект — процесс — объект».

Субъект — пользователи Интернета в их виртуальной самопрезентации (п. 1).

Процесс — язык (п. 2), каналы коммуникации (п. 3), закономерности формирования локальных интернет-сообществ (п. 4).

Объект — собственно фольклорные тексты (вербальные, визуальные и т.д., п. 5–6), а также включенность сетевых текстов в реальную жизнь (п. 4, 7).

Анализ сборников (так же, как и других исследований данного направления) показывает, что при рассмотрении интернет-фольклора затрагивается тематика не только фольклористики, но и многих наук о человеке и обществе. Исключительно филологического инструментария в данной сфере явно недостаточно. Изучение интернет-фольклора (и более широко — изучение потоков информации в Интернете) — направление, предполагающее междисциплинарный, социально-антропологический подход.

Два рассмотренных в данной рецензии сборника, конечно, не дают представления о том, что же такое интернет-фольклор и каковы закономерности его бытования, однако общие черты этого явления вырисовываются все четче, позволяя будущим исследователям основываться на большем материале и делать более уверенные обобщения.

Библиография

- Алексеевский М.Д.* Интернет в фольклоре или фольклор в Интернете? (Современная фольклористика и виртуальная реальность) // От конгресса к конгрессу: Навстречу Второму Всероссийскому конгрессу фольклористов. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2010. С. 151–166.
- Кузнецов С.* Ощупывая слона. Заметки по истории русского Интернета. М.: Новое литературное обозрение, 2004.
- Fox W.S.* Computerized Creation and Diffusion of Folkloric Materials // Folklore Forum. 1983. Vol. 16. P. 5–20.

Дмитрий Громов



Control + Shift: Публичное и личное в русском интернете: Сб. статей / Под ред. Н. Конрадовой, Э. Шмидт и К. Тойбинер. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 336 с.

Вопрос о том, каким образом писать об Интернете, с переменным успехом дискутируется на протяжении последних двух десятилетий. За этот период вышли десятки работ по социологии, антропологии, культурологии Интернета, в основном носивших описательный характер. С конца 1990-х — начала 2000-х гг. активно развивается предметная область *internet studies*, выходит ряд монографий и сборников статей¹, однако все эти работы сохраняют традиционную структуру академического нарратива. Сборник статей «Control + Shift: Публичное и личное в русском Интернете» под редакцией Н. Конрадовой, Э. Шмидт и К. Тойбинер оказался первым научным трудом, намеренно спроектированным таким образом, чтобы максимально соответствовать объекту исследования — как с формальной точки зрения, так и идеологически.

Сборник является результатом работы проекта *Russian-cyberspace.org*, основанного, согласно информации на официальном сайте, в 2004 г. Энрикой Шмидт, Кати Тойбинер и Нильсом Цуравски. Проект нацелен на изучение таких явлений, как «сетевая культура и литература, политика и социальное развитие в Сети, идентичность в эпоху медиа и культурная гибридность»². Кроме

Дарья Александровна Радченко
независимый исследователь,
Москва
darya_radchenko@mail.ru

¹ См., например: [Computer-Mediated Communication 1996; Communities in cyberspace 1999; Гуманитарные исследования 2000; Интернет и российское общество 2002; Folk-art-net 2007; Интернет и фольклор 2009] и др.

² <<http://www.ruhr-uni-bochum.de/russ-cyb/project/ru/opisanie.htm>> (Дата обращения 1.2.2011).

официального сайта, проект представлен блогом¹, на базе которого проводится мониторинг актуальных тенденций Рунета и исследований в этой области. В рабочую группу проекта вошли как западные авторы и эмигранты (Германия, Великобритания), так и отечественные филологи, антропологи, социологи, культурологи.

Сборник, созданный на основе проведенных в рамках проекта исследований, носит, таким образом, междисциплинарный характер. Состав авторов также во многом определил вектор исследования: сборник в значительной степени представляет собой взгляд на Рунет «извне», из определенной культурной перспективы. Некоторая отстраненность исследователей от своего объекта, с одной стороны, позволила создать более объемное его видение, более трезво оценить ряд процессов, происходящих в Рунете, с другой — привела в отдельных случаях к тому, что авторы увлеклись первичным описанием материала, иногда в ущерб более глубокому теоретическому анализу.

Обращает на себя внимание то, что сборник выпущен по принципу open source в соответствии с Creative Commons License²: его материалы можно свободно копировать, распространять, использовать при условии сохранения данных об авторах, некоммерческого использования и распространения любой работы на его основе на тех же условиях (полнотекстовая версия сборника доступна на сайте проекта: <http://www.ruhr-uni-bochum.de/russ-cyb/library/texts/ru/control_shift.htm>). Тем самым авторы декларируют свои представления об оптимальном устройстве информационного пространства и, в частности, Интернета: открытый доступ к данным, свободное взаимодействие на их основе, отсутствие цензуры и ангажированности, но при этом сохранение авторства и отсутствие анонимности. Эти представления во многом определяют содержание и идеологию сборника.

Сборник состоит из вступления, «руководства пользователя», вводной статьи и трех разделов. Это «Исторический, политический и социальный контекст» (здесь дается описание Интернета как информационной среды), «Построение сообщества и конструирование идентичности» (дискуссия о специфике «русского Интернета», гендерной, национальной, культурной идентичности в Рунете и взаимовлиянии идентичности и группобразования в данном сегменте сети), «Сетевое искусство, литература и эстетика Интернета» (вопросы вербального и визуального творчества русскоязычного Интернета).

¹ <<http://russ-cyberspace.livejournal.com/>> (Дата обращения 1.2.2011).

² <<http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/>> (Дата обращения 1.2.2011).

Однако эту структуру усложняют многочисленные дополнения к основным текстам, которые имитируют гипертекстовую структуру страниц Интернета: всплывающие окна, гиперссылки, иллюстрации. На страницах сборника авторы вступают в полемику, дискутируют или приводят аналогичные примеры (эти фрагменты выделены темным фоном). Благодаря этому текст воспринимается не как завершенный, застывший конструктор, а скорее как пространство обмена мнениями, виртуальная конференция, в которой читатель становится хотя и пассивным, но вполне полноправным участником.

Вторая (не менее удачная) инновация — включение в книгу позднейших добавлений к каждой статье. Шаг этот, безусловно, имеет вынужденный характер в силу того, что между созданием статей, основанных на материалах конца 1990-х — начала 2000-х гг., и выходом сборника на русском языке (впервые сборник был издан в англоязычной версии в 2006 г. [Control + Shift 2006]) прошло достаточно много времени, чтобы составляющие его материалы утратили актуальность. Дополнения, написанные авторами спустя четыре-пять лет после завершения работы над текстом, разворачивают динамику изменений объекта исследования. Книга становится своего рода палимпсестом, диалогом не только между авторами, но и между прошлым и настоящим. В результате те выводы, которые при ином, более традиционном подходе к публикации, безнадежно устарели бы, приобретают ценность исторического взгляда. Более того, такая структура создает у читателя ощущение непрекращающегося исследования, постоянного обновления. В этом плане книга оказывается чем-то большим, чем сумма составляющих ее статей: качество, которое крайне важно для сборников, но встречается редко.

Кроме отказа от общепринятой структуры, сборник роднит с объектом его анализа еще одна черта — сложно связанная с контекстом визуальная составляющая, которая не ограничивается иллюстративной ролью, но имеет и собственное содержание. Например, на карикатуре (С. 202) изображен графоман, пишущий на туалетной бумаге. Эта карикатура не столько иллюстрирует текст, посвященный любительской прозе сервера «Заграница», сколько выражает оценку этой прозы и ее творцов автором статьи. Иллюстрации, которые не всегда находятся в прямой связи с текстом, вызывают ассоциации с поиском в Интернете по ключевому слову, когда на запрос «русская литература» выпадают как портреты классиков, так и сайты рефератов. (Здесь, впрочем, трудно удержаться от шпильки в адрес составителей сборника: приветствуемая ими идеология соблюдения авторского права, по всей видимости, не распространяется на авторов иллюстраций — см. с. 30, 43, 82 и т.д.) Наря-

ду с фотографиями и рисунками в текст органично включаются скриншоты веб-страниц и баннеров, напоминая о всплывающих окнах Интернета.

Другой важной чертой сборника является замена традиционного указателя терминов на визуально выделенные «гиперссылки». Такое оформление не только внешне имитирует связанность веб-страниц и отмечает ключевые для сборника понятия, но и способствует переключке текстов, почти исключенной при размещении указателя в конце книги.

С формальной точки зрения, этот прием также следует считать безусловной удачей сборника, между тем интересно остановиться на содержательной стороне так оригинально сформированного указателя. Посмотрим, какие именно термины, имена и понятия представляются авторам и составителям основополагающими, тем более что их не так много. Итак, в алфавитном порядке:

Андреев, блат, веб-дизайн, Вербицкий, Владимир Владимирович тм, де-виртуализация, Гельман, гендерный стереотип, география сети, границы, Делицын, Житинский, интеллигенция, Лебедев, Лейбов, литература, логотипизация, Лужков, любительство, класс, Кононенко, контркультура, контроль, культурная идентичность, Масыня, Мошков, негативная семантика, Носик, «опасный Интернет», Павловский, падонки, память, платформа, политическое искусство, полит.ру, политтехнологи, позитив, порнография, постмодернизм, публичная сфера, Путин, Рунет, сетевое пространство, славянофилы, сопротивление, социальная шизофрения, стабильность, терминология, элита, эссенциализм, язык, e-Russia, fake, www.

По сути, перед нами попытка найти «силовые точки» виртуального пространства — описать стоящие за ним персоналии, технические инструменты и идеологические силы. Если бы мы попытались дать портрет сборника, основываясь лишь на этом указателе (что, впрочем, не так уж неправомечно), мы бы сказали, что это попытка описать не столько собственно Интернет, сколько векторы общественно-политического развития России двухтысячных, определить, что держит крайние точки осей «власть — сопротивление» и «цензура / контроль — свобода / анонимность». Не случайно каждое восьмое слово «указателя» связано с политической активностью и ее отражением в Сети.

Обращает на себя внимание и то, что сборник, по сути, посвящен “WEB 1.0”: основное значение придается проблематике творческих «элит», в рамках которой «аудитория» рассматривается как пассивный потребитель «контента». Отдельные

работы, впрочем, обращают внимание и на Интернет-пользователей следующего «поколения», активно взаимодействующих с потоками информации, но это направление исследования не нашло отражения в указателе.

Вернемся, однако, к текстам сборника. Можно выделить четыре ключевые темы, так или иначе прослеживающиеся в работах авторов.

Первой такой темой, безусловно, является специфика русскоязычного Интернета по сравнению с другими национальными (или транснациональными) сегментами Сети, проблема «русской» культурной идентичности и ее проекции в виртуальную среду. Именно этому вопросу и посвящен сборник — определить, «насколько исторический опыт и культурная идентичность влияют на использование коммуникационных технологий» (вступление, с. 9). Вопрос о том, как обозначить объект исследования — Рунет, русскоязычный Интернет, российский или русский Интернет — остается открытым. Е. Кратасюк в своей статье даже высказывает сомнение в том, насколько этот объект вообще реален, существует ли «Рунет» как особое пространство на самом деле, или это мифологема, созданная и поддерживаемая пользователями и исследователями (С. 45).

Границы «русскоязычного Интернета» (остановимся пока на этом громоздком термине) расплывчаты, а внутри сегмента развивается сильная дифференциация. Специфика его, тем не менее, имеет место и последовательно выявляется авторами сборника. С точки зрения исследователей, данный сегмент отличается высокой степенью связанности, «коммунальностью», склонностью к образованию групп и сообществ (вступление, с. 14) и при этом замкнутостью, «закукливанием» в силу языкового фактора (Шмидт, Тойбинер, с. 23).

Проблематика «границы», реальной или воображаемой, и ее преодоления оправданно занимает значимое место в работах, вошедших в состав сборника, поскольку связана с определением самого объекта исследования. «Русскоязычный Интернет» включает в себя пользователей из России и бывшего СССР, представителей русскоязычных диаспор по всему миру и является пространством «сопротивления распространению глобальных (американских) культурных ценностей» (Боулз, с. 43). Но при всей «надграничности» идиллической картины единства информационного пространства на основании единства языка не получается: «Рунет» формирует замкнутые группы с собственной идентичностью.

Исследователи также отмечают высокий уровень исторической и политической рефлексии русскоязычного сегмента. На пер-

вый взгляд, с этим нельзя не согласиться, однако некоторые сомнения вызывает недостаток сравнительного анализа в большинстве работ сборника. Выявление специфики «Рунета» является одной из основных задач авторов, при этом он практически всегда рассматривается в изоляции от общего развития Интернета.

Весьма продуктивным можно считать также другое направление, которое принял анализ специфики «Рунета» — соотношение его содержательной и формальной стороны. Так, во вступлении составители сборника отмечают, что «русский Интернет гораздо более ориентирован на содержание, чем на форму, и гораздо больше заинтересован в коммуникации, чем в технологии» (вступление, с. 17). Это положение поддерживается наблюдением Е. Горного, хотя понятия «русская культура» и «русский человек» употреблены здесь несколько поверхностно: «Многопользовательские игры, каналы IRC, чаты и форумы характеризуются преобладанием устной речи, хотя бы и в письменной форме. Юзнет, домашние страницы и блоги, напротив, ориентированы на риторику письменную. Именно поэтому, в полном соответствии с литературоцентризмом русской культуры, они обрели более высокий ценностный статус для русского человека онлайн» (Горный, с. 213).

Между тем А. Горных и А. Усманова настаивают на структурной специфике русскоязычного Интернета, предлагая искать ее «в тотальных повторах базовых шаблонов Интернета, создающих эффект “обнажения приема” (В. Шкловский), обнажения логики постмодернистского визуального потребления» (Горных, Усманова, с. 280). Впрочем, при описании этого явления на основании наблюдений авторы отказываются от каких-либо сравнительных исследований, из-за чего результат работы вызывает определенное недоверие. Так, они отмечают, что «Рунет отличает систематическое использование gif- и flash-анимаций, зачастую по несколько в одном окне, что создает впечатление визуальной агрессивности» (Горных, Усманова, с. 276), однако сетевое пространство вне русскоязычного сегмента гораздо более насыщено этими элементами.

Другая важная тема сборника — взаимоотношения Интернета и власти. В статьях сборника Интернет рассматривается как пространство контркультурной деятельности и сопротивления в широком смысле слова (Шмидт, Тойбинер, с. 22; Боулз, с. 32; Горюнова, с. 249 и далее), источник неподцензурной информации, которая благодаря этому воспринимается как достоверная, но далеко не всегда является таковой (Кратасюк, с. 49).

Особый интерес вызывает произведенный Э. Шмидт и К. Тойбинер (с. 78 и далее) анализ осторожных попыток власти «приручить» оппозиционные настроения Рунета, поддерживая их или развивая негативную семантику Интернета, настаивая на том, что неподконтрольность и сетевых ресурсов синонимична некачественности, небезопасности. Взаимоотношения веба и власти в представлении последней оборачиваются оппозицией «природа — культура», в которой «культура» является означаемым понятия «контроль». Действительно, к настоящему времени сложилась ситуация, в которой сетевое пространство стало одной из основных сред развития сопротивления — пространством, где находится место сколь угодно альтернативным идеям и направлениям, и в то же время оно остается механизмом утверждения устоявшихся, «мейнстримовых» культурных парадигм.

Сочетание внешней неподконтрольности и возможностей манипуляции в сетевом пространстве находит отражение в еще одном явлении, стоящем в центре внимания авторов сборника — феномене «виртуальной личности», рассматриваемой и как конструкт, и как агент влияния. «Русская» виртуальная личность описывается прежде всего как литературный жанр — «узнаваемый жанр сетевого творчества, узаконенный соответствующей категорией в сетевом литературном конкурсе» (Горный, с. 212).

Здесь следует отметить, что статьи сборника в целом характеризует та литературоцентричность, которая считается одним из столпов национальной идентичности. Настойчивые попытки авторов вписать сетевую активность в контекст литературной традиции, возможно, не всегда оправданны, но всегда носят некоторый оправдательный оттенок; «литературность» в их интерпретации является своеобразным подтверждением ценности феноменов сетевой культуры и значимости их для исследования. Однако авторы отмечают и то, что «русская» виртуальная личность больше, чем виртуальная личность в «западном» понимании. Она «понимается здесь [в России], как правило, именно как репрезентация “я”, его психологическое и экзистенциальное расширение, а не как отчужденный и самодостаточный механизм» (Горный, с. 214). Игры с идентичностью, складывание мозаичных «я-конструкций» приводят, тем не менее, не к психологической компенсации, а к бегству от идентичности как таковой (Кратасюк, с. 45).

Казалось бы, русскоязычный Интернет увлечен этими играми и даже поощряет их, но стремление его к верификации получаемых сведений (в силу уже описанного восприятия веб-ресур-

сов как неподконтрольных, а следовательно, содержащих достоверную информацию) толкает его к де-виртуализации (раз-виртуализации), преобразованию виртуального сообщества в реальное (Горный, с. 108).

Наконец, авторы неизбежно обращаются к теме Интернета как информационного пространства и его специфики. Он рассматривается как деструктурированное, лишенное системности, упорядоченности, иерархий, но при этом плотно сплетенное гиперссылками и связями социальных сетей поле, как мерцающий, ускользающий, сложный, мозаичный объект, одновременно размыкающий границы и замкнутый в себе, ведущий в никуда, запутывающий пользователя замкнутым кольцом гиперссылок (утверждение, которое с учетом современного опыта все же является известным преувеличением, но оправдано для определенного периода существования Сети): «Интернет в качестве соблазнительной возможности дает шанс узнать о мирадах отдельных вещей за счет утраты познаваемости самого мира» (Горных, Усманова, с. 278). С точки зрения авторов сборника, «новостные сайты и ленты информационных агентств, русскоязычные и англоязычные ресурсы, выведенные на одну плоскость экрана или связанные гиперссылками, уже одним фактом своего соединения вызывают чувство необъятности, неподконтрольности и плюралистичности информационного потока» (Кратасюк, с. 57). Однако «именно в потенциальной способности Интернета обеспечить единство часто болезненно ощущается утрата целостности» (Шмидт, Тойбинер, Цуравски, с. 173).

Авторы настаивают на разложении нарратива в Интернете, усилении визуального «рассеянного» восприятия, логотипизации событий и явлений, сведении информации к разрозненным знакам, между которыми бродят люди «поколения двухтысячных». Интернет в этом ракурсе оказывается как отражением фрагментированного, разорванного мира, так и попыткой компенсировать этот разрыв за счет образования новых групп и новых идентичностей. Сборник же, в свою очередь, является портретом как эпохи становления русскоязычного Интернета, так и определенного этапа развития русской культуры в целом, хотя ценность его, безусловно, не исчерпывается его историческим значением.

Библиография

- Гуманитарные исследования в Интернете. М.: Можайск-Терра, 2000.
Интернет и российское общество. М.: Гендальф, 2002.
Интернет и фольклор: Сб. статей. М.: ГРЦРФ, 2009.

- Communities in Cyberspace. N.Y.: Routledge, 1999.
- Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social, and Cross-Cultural Perspectives. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 1996.
- Control + Shift. Public and Private Usages of the Russian Internet. Norderstedt: Books on Demand, 2006.
- Folk-art-net: новые горизонты творчества. От традиции — к виртуальности. М.: ГРЦРФ, 2007.

Дарья Радченко



Центральная Азия в составе Российской империи.
М.: Новое литературное обозрение, 2008. 464 с.
(Historia Rossica).

Эта весьма полезная и значимая книга вышла в серии «Окраины Российской империи» (Historia Rossica), главными редакторами которой являются Алексей Миллер, Анатолий Ремнев и Альфред Рибер. Авторский коллектив включает превосходных исследователей (С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов, Н.Е. Бекмаханова, О.В. Боронин, О.И. Брусина, А.Ю. Быков, Д.В. Васильев, А.Ш. Кадырбаев, Т.В. Котюков, П.П. Литвинов, Н.Б. Нарбаев и Ж.С. Сыздыкова), принадлежащих к первому постсоветскому поколению русскоязычных ученых, занимающихся исламскими регионами империи. Между тем многочисленность авторов неизбежно приводит к различиям в тональности и возникающим время от времени противоречиям.

Данная книга является важной вехой в развитии того, что можно было бы ориентировочно назвать «постколониальной» (или по

Александр Моррисон
(Alexander Morrison)

Ливерпульский университет,
Великобритания
A.S.Morrison@liverpool.ac.uk

крайней мере постимперской) русской историографией. Составители сборника хотели сделать его авторитетным справочником по Центральной Азии (включающей территорию современного Казахстана), входившей в состав Российской империи. И в чисто фактическом отношении сборник по большей части успешно решает эту задачу. Сегодня на английском языке не существует эквивалента, подобного этому изданию, в небольшой степени потому, что в большинстве недавних западных исследований, посвященных Центральной Азии, уделялось слишком большое внимание приложению новейших теоретических инноваций к исследованию русского империализма, но без опоры на эмпирическую базу, в отличие от представленной книги. На уровне интерпретации и анализа книга оказывается довольно пестрой и отнюдь не свободной от некоторых искажающих картину постулатов, общих как для советской, так и для современной историографии национализма. Характеристика русского империализма в Центральной Азии как по сути своей благотворного (С. 26) заставит многих недоуменно поднять брови и требует большего количества уточнений, чем представлено в книге. Первые два приложения состоят из статей о современных казахской и узбекской историографиях с замечательным представлением постколониальной политики написания истории в бывшем СССР (и это несмотря на то, что их обиженный и полемический тон не очень соотносится с более трезвым анализом предшествующих пятнадцати глав).

Изначально в открывающей книгу главе «История Центральной Азии до вхождения в состав Российской империи» (С. 10–30) Кадырбаев и Сыздыкова избегают упрощенного описания центрально-азиатских ханств как стагнировавших и не менявшихся на протяжении XIX в. государственных образований — взгляд, который слишком распространен в западных и российских исследованиях (см., например, [Mackenzie 1974: 20–21]). В частности, они обращают внимание на растущую централизацию Бухарского государства при эмире Насрулле (1826–1860), создание новых каналов там и в Ферганской долине при кокандском правлении, в то время как в Хорезме хану Мухаммеду Рахиму I (1806–1825) также удается создать относительно сильное государство (С. 24–25). Трудно не согласиться с мыслью авторов главы о том, что Бухара и Коканд тем не менее были в значительной степени ослаблены внутренними войнами, шедшими с начала и до середины XIX в. Однако исследователи сводят на нет большую часть своей замечательной работы, приходя к выводу (С. 26) о том, что в целом Центральная Азия оставалась на «средневековом» уровне развития, с примитивным сельским хозяйством, незначительным экономическим ростом (в книге встречаются и прямо противополож-

ные утверждения), что сделало «процесс подчинения Центральной Азии одной из мировых держав неизбежным», чтобы регион начал развиваться в сторону «более высоких форм организации хозяйственной <...> деятельности». Марксистская телеология, встроена в это высказывание, не требует дальнейших пояснений.

Работа Вольфганга Хольцварта об узбекском государстве в XVIII в. и Бухаре начала XIX столетия, быть может, опубликована слишком недавно, чтобы можно было с полным правом ожидать ссылок на нее [Holzwarth 2006], однако упоминание классической статьи Ольги Чехович, где высказана мысль о процессе прогрессивного развития в Центральной Азии до эпохи русского завоевания, является более серьезным упущением [Чехович 1956: 84–95]. Кроме того, отсутствуют ссылки и на обширную новую литературу о быстром росте торговли (главным образом лошадьми и тканями) между Центральной Азией и Индией в конце XVIII и начале XIX вв. [Alam 1994; Dale 1994; Gommans 1994; Markovits 2000; Levi 1999; Levi 2002]. В последней части главы содержится краткий обзор основных тем и соображений, которым посвящена остальная часть книги, а кроме того заявлено, что книга задумана как общее пособие, а не аналитическая монография.

Название глав Бекмахановой и Нарбаева «Присоединение казахских племен к Российской империи и административные реформы в XVIII — середине XIX в.» (С. 31–61) сразу же вызывает тревогу, поскольку повторяет термин «присоединение», который использовался в советское время для описания российской имперской экспансии. Достаточно предсказуемо эта часть книги фокусируется на включении Малой Орды в империю с подчинением хана Абдул-Хаира императрице Анне в 1730 г. (С. 37–38). Вопрос о том, выступал ли на самом деле Абдул-Хаир от имени всех казахов Малой Орды, так и не затронут: почти несомненно, что необходимость в помощи русских против джунгар привела его к налаживанию дружеских отношений с Петербургом, но из дневника Мухаммеда Тевкелева, татарина-дипломата, посланного Россией для ведения переговоров, становится ясно, что немалая часть нобилитета Малой Орды испытывала сомнения по поводу принятия защиты от русских и была глубоко обеспокоена утратой суверенитета. То, что русская реакция была продиктована исключительно альтруистическим желанием защитить казахов от их хищных соседей, также является спорным: Иван Крылов, возглавлявший оренбургскую экспедицию, которая первой попыталась установить российскую власть на окраинах степного региона в 1734 г., откровенно проводил сравнение с испанским завоеванием Америки [Khodarkovsky 2002: 152–156]. Всего этого нет

в работе Бекмахановой и Нарбаева. Кстати, им было бы полезно учесть новые западные работы по данной теме, не говоря уже о недавнем казахском издании писаний Тевкелева [Эрофеева 2005].

Тем не менее далее следует сбалансированное высказывание о том, что «итоги присоединения казахских жузов в XVIII и XIX вв. имели как позитивные, так и негативные аспекты» (С. 46), а также детальный анализ (С. 48–49) инструкций Михаила Сперанского по управлению сибирскими «киргизами» и история создания правовых и административных структур для степного региона в 1830–1860-х гг. Однако, читая описание (С. 56–57) восстания Кенесари Касымова в 1845–1847 гг., можно предположить, что его действия были направлены исключительно против Коканда, а не против русской экспансии, в то время как заявление о том, что порожденная его бунтом политическая смута «вынудила» Россию продвигаться на юг, вызывает в памяти не только советскую историографию, но и британскую имперскую историческую школу, заявлявшую, что лишь хронический «хаос», царивший в Индии XVIII и начала XIX вв., «вынуждал» Ост-Индскую компанию проводить экспансионистскую политику. Последний раздел главы охватывает административные реформы в степном регионе вплоть до введения нового Положения 1867-го г.

В четвертой главе, написанной Борониным, рассказывается о «Завоевании Российской империи в Центральной Азии». Я полностью поддерживаю отказ Боронина от марксистско-ленинского утверждения о том, что завоевание Центральной Азии мотивировалось стремлением получить источник хлопка-сырца для московской текстильной промышленности: у слабого российского предпринимательского класса не было таких возможностей влияния на официальные круги, и уж во всяком случае даты не сходятся. Часто упоминаемый перерыв хлопковых поставок, причиной которого стала гражданская война в Соединенных Штатах, не мог стать стимулом кампании, всерьез начавшейся в 1853 г. с захвата Кокандской крепости Ак-Масджид. Кроме того, она закончилась бы намного раньше, если бы не начавшаяся Крымская война. К тому времени, когда русские дошли (после 1865 г.) до оазисных регионов, где выращивался хлопок (южные районы степи), американская гражданская война закончилась.

Вывод Боронина заключается в том, что экономические интересы играли незначительную роль в качестве мотивов данного завоевания: вместо этого, как заявлял канцлер Горчаков, для российского военного мышления первостепенной задачей было обретение безопасной границы, а кроме того свою роль,

видимо, сыграли опасения роста британского влияния в регионе [Correspondence Respecting Central Asia 1873: 70–75]. Упоминание автора о том, что Россия и Британия придерживались одинаковых стратегий шпионажа и исследования в Центральной Азии, нередко провоцируя взаимную информационную панику в «сознании официальных лиц», является особенно ценным и представляет собой уход от одностороннего нарратива советской эпохи, представленного в работах Г.А. Хидоятова [Хидоятов 1969, 1981]¹, согласно которому единственными агрессорами в регионе выступали англичане.

По поводу без конца обсуждаемого вопроса о том, был ли санкционирован Петербургом захват Ташкента генералом М.Г. Черняевым в 1865 г. (С. 74), Боронин полагает (с моей точки зрения, верно), что у Черняева был приказ освободить Ташкент от кокандского контроля и превратить его в независимый город-государство «под русским влиянием»². И только когда русские поняли, что это почти наверняка приведет к аннексии города Бухарой, они оказались вынужденными удерживать его: вообще же они недооценили то, насколько их стремление обрести безопасную границу со степью вовлекало Россию в политическое соперничество между Бухарой и Кокандом. Вероятно, многое можно было бы сказать в данном случае о дестабилизирующем воздействии российских военных кампаний на внутреннюю политику центрально-азиатских ханств, однако понятно, что русские не ожидали длительной войны с Бухарой, которая последует за аннексией Ташкента у Коканда.

Далее автор описывает завоевание Ходжента, Джизака и Самарканда, что в конце концов привело к мирному договору, подписанному с Бухарой в 1868 г. Глава включает замечательный анализ Илийского кризиса и временной аннексии Кульджи у Китая в 1871 г. (эпизод, на который часто не обращают внимания, анализируя российскую экспансию в регионе). Завершается глава небольшим разделом о завоевании Транскаспийского региона (где Боронин кратко признает массовое убийство по приказу генерала М.Д. Скобелева по меньшей мере 8000 туркмен при осаде Геок-Тепе), а также об аннексии Памира и демаркации границы с Афганистаном.

В главах пятой и шестой Васильев и Нарбаев дают обзор «Центральная Азия во внутренней политике царского правитель-

¹ Название этой работы («Британская экспансия в Средней Азии») является странным для книги о русской аннексии Пенджеского оазиса и продвижении к Герату. Обе книги представлены в библиографии.

² О чем свидетельствуют опубликованные тексты приказов [Серебренников 1914: 86–92, док. 63 и 65].

ства» (С. 86–131), который удачно ведет читателя сквозь многообразные правовые изменения в статусе двух центрально-азиатских генерал-губернаторств с середины XIX столетия. Начиная с рекомендаций Степной комиссии и временного Туркестанского Положения 1867 г. они описывают паразитическую независимость, которую это дало первому генерал-губернатору К.П. фон Кауфману, а также тот стиль, который он использовал для создания в высшей степени персонализированной системы военной власти в данном регионе. Далее они показывают, как Положение 1886-го г., которое следовало рекомендациям по проведению реформ комиссии сенатора Ф.К. Гирса, начало ослаблять чисто военную администрацию, существовавшую в Туркестане до этого момента, предоставляя возможность большего контроля министерствам финансов и внутренних дел и вводя некоторые элементы гражданского кодекса 1864-го г. Авторы исследуют включение Семиречья и Заскаспийских областей в Туркестан, изменения в статусе Степного генерал-губернаторства и, наконец, рекомендации реформаторской комиссии графа К.К. Палена (1908–1910 гг.).

Авторы верно отмечают общую тенденцию к большей правовой и административной нормализации за последние пятьдесят лет царского правления в Центральной Азии, но, с моей точки зрения, они преувеличивают единодушие во взглядах российских официальных лиц по поводу возможности или желательности полной интеграции Туркестанского и Степного генерал-губернаторств в империю. И хотя можно найти многочисленные призывы к административному «сближению» и «слиянию», почти всегда в качестве противовеса этим заявлениям высказывался пессимизм по поводу культурной дистанции, разделявшей русских и народы Центральной Азии, а также предупреждения о том, что гражданская система управления может поставить под угрозу военную безопасность. Эти дебаты стали особенно заметными после Андижанского восстания, когда некоторые заговорили о том, что Положение 1886-го г. ослабило и демилитаризовало туркестанскую администрацию¹. Здесь необходимо упомянуть работу Дениэла Броуэра, который четко показывает, что предложения расширить гражданскую управленческую систему и ввести общеимперские нормы управления и «гражданственности» почти всегда блокировались теми, кто настаивал на том, что приоритеты военной безопасности — или против мусульманской «отсталости» и «фанатизма», или против новых, пантюркистских и панисламистских угроз — должны оставаться нетронутыми [Brower 2003]. Степь и Туркестан оставались под военным управлением

¹ См., например: [Сальков 1901: 92–93].

вплоть до 1917 г., суды и администрация почти целиком находились под военным контролем, земства, нормы гражданского управления, существовавшие в Европейской России, так и не были введены, местные аномалии вроде сохранения религиозного и традиционного права оставались нетронутыми.

Я не согласился бы с мыслью авторов (С. 125) о том, что комиссия Палена 1908-го г. дала «мощный импульс» к большей интеграции Туркестана в империю и к «приобщению края к общеимперским порядкам». Пален рассматривал Туркестан как колониальный регион со специфическими, колониальными проблемами; он писал, что туркестанские «государственные нужды далеко не похожи на те, кои приходится удовлетворять в коренной Империи» [Пален 1910: 12]. В своих рекомендациях по реформированию Туркестана он часто вдохновлялся Британской Индией, а не Европейской Россией:

Недостатки эти особенно наглядно выступают при сравнении нашей системы управления края с управлением Азиатских владений других государств, особенно с выдающеюся по обширности — Английскою Индийскою колониєю [РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 437. «Краткий всеподданнейший доклад К.К. Палена о ревизии Туркестанского края. Черновик» (1909). С. 32].

Это наиболее отчетливо заметно в его решении не уничтожать шариатские суды, но регулировать их, используя кодекс «Англо-мухамеданского» права, выработанного в Британской Индии (попытка, не имевшая успеха)¹. Нет сомнений в том, что Палену, как и другим туркестанским реформаторам до него, хотелось бы видеть систему управления Туркестаном более сближенной с российскими имперскими нормами, однако он просто не верил в то, что этот переменчивый и чуждый пограничный регион к этому готов. Идея «сближения» Центральной Азии так и не была оставлена царским режимом, однако ее реализация неоднократно откладывалась.

В написанной Абашиным главе «Социально-экономическое и демографическое развитие Центральной Азии в составе Российской империи» (С. 132–158) чрезвычайно большой материал анализируется четко и кратко. Автор указывает, что, хотя торговля между Россией и центрально-азиатскими ханствами в начале XIX в. быстро росла и у ханств был благоприятный торговый баланс с Россией, в масштабах всей империи эти торговые отношения являлись не очень значимыми, а чиновники рассматривали Центральную Азию в немалой степени как путь

¹ См.: [Khalid 1998: 70–71; Morrison 2008: 274–282].

к более масштабному индийскому рынку. К середине XIX в. торговля с ханствами на самом деле упала до трети от уровня 1830-х гг. и не поднималась вплоть до эпохи после завоевания 1867 г.: в Центральной Азии торговля совершенно определено следовала за флагом. Во всяком случае, как демонстрирует Абашин, небольшое и относительно бедное население региона не сформировало значительного рынка для российских товаров, и лишь в 1894 г., когда Бухара оказалась включенной в рамки российской таможенной системы, поток мануфактуры не из Европейской России (главным образом британского происхождения, через Индию) был перекрыт. Отсутствие экономических мотивов у русского империализма в данном регионе подчеркивается колоссальным фискальным дефицитом, который постоянно порождает Туркестан вплоть до 1905 г.: к 1881 г. Петербург выделил субсидий для региона на сумму 85 881 204 руб. [Гирс 1884: 366]. Хотя по крайней мере один историк утверждает, что эти цифры являлись результатом манипуляций сенатора Ф.К. Гирса и генерала Черняева для дискредитации генерал-губернатора фон Кауфмана, единственное обоснованное возражение на эти данные заключается в том, что они включают стоимость военной оккупации Туркестана [Maskenzie 1974: 174–175]. С учетом желания того, чтобы пограничные регионы покрывали стоимость своей военной оккупации, а также колониальной параллели (в Индии из местных доходов оплачивались не только местные гарнизоны, но и армия в 150 тыс. чел., которую можно было бы использовать в интересах Британии в других регионах), значимым является то, что Туркестан был источником немалых расходов для имперского плательщика. Отчасти это происходило из-за политики облегченного налогообложения, введенной фон Кауфманом, благодаря чему многообразные бухарские и кокандские местные подати были заменены правительственным земельным налогом, основанным на номинальных 10 % стоимости урожая (что являлось понижением по сравнению с 20–30 % до завоевания) (С. 138–141). Несмотря на строительство железных дорог и быстрое расширение территорий, отведенных под выращивание хлопка в последнее десятилетие XIX в., степень экономической ценности Туркестана для России даже на протяжении последних двадцати лет царского режима остается под вопросом.

Абашин повторяет (С. 146) распространенную точку зрения о том, что русские завоевания мотивировались стремлением империи обрести безопасный источник хлопка (что в значительной степени отвергнуто Бороным в написанной им главе — см. выше). Однако, как автор показывает далее, выращивание хлопка в Туркестане поощрялось введением больших

пошлин на импортный хлопок, доходивших до 3 руб. 15 коп. за пуд к 1894 г., что действительно защищало туркестанский хлопок от иностранной конкуренции и действовало в качестве не прямой субсидии. Я полагаю, что для московских фабрик было бы дешевле импортировать хлопок-сырец из США или откуда-нибудь еще и что следствием порочного стремления царского режима к автаркии явилось взвинчивание цен. Из этого можно сделать весьма интересные выводы, касающиеся не поставленного вообще-то под сомнение представления о том, что выращивание хлопка в Туркестане было выгодно экономике Российской империи в целом; это также заслуживает дальнейшего исследования.

Следствием подобной политики для самого Туркестана стал ощутимый рост посевных площадей под хлопок — до 16,8 % всей орошаемой земли. Производство взлетело с 873 000 пудов в 1888 г. до 13 697 000 пудов в 1913 г., что составляло около половины того, в чем нуждалась империя. 90 % этого хлопка выращивалось на маленьких «туземных» участках, размер которых составлял пять десятин или менее, в зависимости от наличия оросительных каналов. Это показывает, насколько выращивание хлопка являлось антрепризой, в которой участвовало все крестьянское население региона [Книзе, Юферев 1914: 278, 285–286]. Последние годы царизма стали свидетелями еще более амбициозных планов, касавшихся хлопковой монокультуры. Часто цитируют слова министра сельского хозяйства А.В. Кривошеина о том, что «каждый лишний пуд туркестанской пшеницы — конкуренция русской и сибирской пшенице; каждый лишний пуд туркестанского хлопка — конкуренция американскому хлопку. Поэтому лучше дать краю привозный, хотя бы и дорогой хлеб, но освободить в нем орошенные земли для хлопка» [Кривошеин 1912: 7; цит. по: Mackenzie 1974: 182]. Он хотел видеть площади, отведенные под хлопковую культуру, увеличенными до 33 %: здесь, как и в других случаях, нереализованные планы позднего царского режима по Центральной Азии будут позднее воплощены в жизнь в советский период.

Абашин воздерживается от морализаторских суждений по поводу расширения выращивания хлопка, он просто указывает на ценность данной товарной культуры, которая особенно хорошо подходила для ирригационного сельского хозяйства. Кроме фабрик по очистке хлопка и некоторого количества угольных шахт, в Туркестане и Степном регионе до 1917 г. было лишь несколько промышленных предприятий, и Абашин не тратит время на повторение советских заклинаний о возникновении промышленного пролетариата в данном регионе. Он заявляет тем не менее (С. 155), что конец XIX и начало XX в.

оказались свидетелями растущей концентрации земли в руках богатых баев, а также дробления оставшихся земельных наделов на еще более фрагментированные участки. Это, в свою очередь, приводило к росту испольничества среди бедных или безземельных крестьян («чайрикорства», от тадж. *чоряккор*, указывающего на то, что — по крайней мере в принципе — работник получал четверть урожая). Абашин указывает, что это, вероятно, было связано с растущей коммерциализацией сельского хозяйства в данный период.

Глава завершается обзором демографических тенденций; здесь отмечено, что рост численности населения с 0,4–0,6 % в 1870-х гг. до 1,5–2 % в Туркестане и 0,8–1,4 % в Степном регионе к началу 1900-х гг. отчасти объясняется улучшением медицинского обеспечения и притоком мигрантов из Афганистана и китайского Туркестана, а также русских переселенцев. Кроме того, Абашин пишет, что основной центр переселения переместился из Бухарского оазиса в Ферганскую долину, хотя этот процесс должен был начаться в конце XVIII в. с расширением ирригации в Ферганской долине при Кокандском ханстве.

В работе над восьмой главой «Изменения в культуре центрально-азиатского общества под властью империи» (С. 159–186) приняли участие Абашин, Кабырбаев, Сыздыкова и Васильев. Глава включает разделы, посвященные исламскому образованию, русскому образованию среди казахов и жителей Туркестана, «русско-туземным школам», попыткам реформировать традиционное образование, «новометодным» *mektebam*, проблеме «русификации», литературе, музыке, драме, архитектуре, визуальным искусствам, прессе, а также «просветителям». Это довольно много для двадцати семи страниц, поэтому неизбежно некоторые темы затронуты весьма бегло.

Я совершенно согласен с большинством соображений, представленных в этом разделе, например с тем, что наиболее значительные движения по реформированию и просвещению возникали среди самих народов Центральной Азии и в целом они немногим обязаны прямой официальной поддержке или государственным образовательным институциям. Незначительное число русских, изучавших местные языки, а также ограниченный доступ русскоязычного образования для туркестанских мусульман означали, что интеллектуальный обмен был ограничен небольшой элитой. Русские интеллектуальные влияния являлись со всей очевидностью значимыми, между тем многие из наиболее важных новых идей пришли в Центральную Азию с Волги и от крымских татар, из Оттоманской империи и от мусульман Британской Индии, причем мусульманское модер-

нистское движение, широко известное как «джадидизм», нередко рассматривалось властями с большой подозрительностью, как прикрытие для пантюркистских и панисламистских идей (С. 170). Государство, конечно, немного сделало для интеллектуальной модернизации, но в то же время здесь оно не проводило агрессивную русификаторскую политику, как на западных окраинах в последние годы существования империи. Период, наступивший после смягчения цензуры в 1905 г., характеризовался расцветом прессы в Центральной Азии в виде целого ряда недолговечных реформистских газет, а также новых форм литературы, таких как пьеса Махмуда Ходжи Бехбуди «Отцеубийство» (*Падаркуш*).

Заключение главы несколько контрастирует с представленными в ней документальными материалами. Авторы приписывают слишком важную роль русскому правлению в «поощрении» новых интеллектуальных явлений, в то время как позиция государства в лучшем случае была пассивной и не целенаправленной.

Девятая глава, написанная Быковым и Абашиным, начинается с того места, где остановились авторы предыдущей главы, исследуя «Влияние российской власти на быт центрально-азиатского населения» (С. 187–209), однако на этот раз разговор идет о социальной, а не о интеллектуальной истории. Быков показывает, что, хотя казахи оставались кочевым или полукочевым народом и продолжали практиковать кочевое скотоводство до самой революции, с конца XVIII в. все большее число людей начинает заниматься оседлым сельским хозяйством в Тургайской провинции и по берегам Сыр-Дарьи. Быков видит растущую классовую стратификацию казахского общества на экономической основе к концу XIX в., причем старые элиты теряют многое из своего исключительного положения, а число бедных и лишенных собственности групп возрастает. У меня нет достаточных знаний, чтобы судить об основательности этой мысли применительно к казахам, однако данное суждение весьма напоминает стандартный нарратив советской эпохи о социальном развитии.

Раздел Абашина об оседлом обществе в Центральной Азии отличается более тонким анализом, а также содержит гораздо больше подробных описаний того, как в реальности проживалась жизнь в период завоевания и после: он высказывает трогательную мысль (С. 200) о том, что одной из наиболее глубоких перемен, которые принесла российская власть, стало введение в обиход самовара, что привело к резкому росту числа чайхан, ставших важной особенностью городского ландшафта Центральной Азии. Его анализ положения женщин и семей во мно-

гом основывается на замечательной пионерской работе российского администратора, востоковеда и этнографа В.П. Наливкина и его жены Марии, которые провели год в деревне под Ферганой в 1884 г. и опубликовали книгу этнографических наблюдений, заслуживающую переиздания и широкого распространения [Наливкин, Наливкина 1886]. Анализ Абашиным религиозных практик (в противоположность догматике) является четким и кратким, он детализирован настолько, насколько позволяет небольшое пространство.

Глава завершается кратким обзором некоторых трансформаций, привнесенных российской властью, таких как распространение новых мануфактурных товаров, перемены в одежде и домашнем устройстве, рост пьянства и растущий разрыв между богатыми и бедными. Нет сомнений, что приход российской власти способствовал глубинным социальным переменам в Центральной Азии в немалой степени благодаря попыткам маргинализации религиозной, землевладельческой и племенной элит, доминировавших в Коканде и Бухаре до завоевания (на что в этой главе внимания обращается недостаточно).

Тем не менее общий вывод о том, что центрально-азиатское общество оставалось в значительной степени статичным перед тем, как русское завоевание насильственно взорвало существовавший порядок, представляется чересчур жестким. Данные, представленные в главе, говорят о другом, а именно о том, что многие тенденции, связанные с социальными переменами, можно возвести по крайней мере к середине XVIII в.; в этой области мы испытываем крайнюю нужду в исследованиях, использующих источники на местных языках.

В десятой главе Брусина обращается к деликатной теме «Миграций в Центральную Азию» (С. 210–233), говоря по большей части о переселенцах-славянах, основываясь, по-видимому, на своих опубликованных ранее исторических и этнографических исследованиях в этой сфере [Брусина 2001]. Но почти все сноски в первом разделе, посвященном казачьим поселениям в Казахской степи, — это отсылки к работе Бекмахановой о «формировании многонационального населения Казахстана и Северной Киргизии», где описано создание уральских, сибирских, оренбургских и семиреченских казачьих формирований.

Между тем вопрос о том, насколько организованный государством процесс может в действительности называться «миграцией», является спорным. Считать это исключительно демографической проблемой — значит игнорировать военную роль, которую играли эти группы в обеспечении безопасности имперской границы, причем нет упоминания о тех, кто был

ограблен, когда эта земля была заселена казацкими формированиями.

Далее Брусина описывает масштабный рост переселенческого движения среди русских крестьян в конце XIX в., так что к 1897 г. в Степном генерал-губернаторстве был уже 1 млн славян, в Туркестане — 200 тыс., причем 70 тыс. из них были крестьянами-переселенцами, проживавшими в 116 новых населенных пунктах. Эти цифры должны были возрасти после открытия Ташкентско-Оренбургской железной дороги в 1906 г. Исследовательница признает (С. 222–223), насколько разрушительным был этот процесс, а также тот факт, что к 1917 г. приблизительно 28 % территории современного Казахстана было отведено для использования поселенцами. Тем не менее нарастание напряженности в отношениях между переселенцами и местным населением, ставшей результатом этого процесса и вылившейся в центрально-азиатское восстание 1916-го г., не упоминается по причинам, которые становятся понятными далее. Вместо этого Брусина описывает административные меры, выработанные для переселенцев, их экономическую жизнь, а также попытки властей изолировать их, насколько это было возможно, от местного населения.

Двойственное отношение местных чиновников и образованных русских к переселению крестьян (засвидетельствованное, среди прочих, Паленом) [Pahlen 1964: 202–203; Синицын 1888], нищенские условия, в которых нередко по прибытии оказывались переселенцы, их незнакомство с ирригационным сельским хозяйством, а также то, что часто они пытались сдать в аренду занимаемую ими землю местным жителям, у которых она была отнята и которые умели ее обрабатывать¹, — обо всем этом нет ни слова. В разговоре о миграции в города возникают цифры русского населения Ташкента, Самарканда и Нового Маргилана, однако полезным в данном случае было бы обратиться к весьма детальному исследованию Джеффа Сахадео, посвященному русскому переселенческому сообществу в Ташкенте, хотя его последняя книга и появилась, быть может, слишком поздно, чтобы ее можно было учесть [Sahadeo 2000; 2005; 2007].

Глава завершается описанием миграции других этнических групп в Центральную Азию в имперский период (татар, армян, грузин, персов и др.), причем последние к началу 1900-х гг. составляли самое большое нерусское население Ашхабада.

В главе, написанной Литвиновым («Религиозная политика российской власти в Центральной Азии» (С. 234–258)), рас-

¹ См.: [Позняков 1902: 4–13, 22].

сказывается о столкновении Российской империи с разными формами того, что рассматривалось в качестве опасного исламского «фанатизма», который государство поспешно поощряло в степном регионе в эпоху Екатерины Великой и в начале XIX в. В данном случае были бы полезны некоторые ссылки на работу Аллена Франка о казахском регионе, где убедительно опровергнуто представление о том, что казахи до контактов с волжскими татарами были исламизированы лишь поверхностно [Frank 1998: 234–236; 2001: 275–282, 314–315]. Тем не менее Литвинов дает хорошее описание путей и перепаутов религиозной политики, проводившейся в Туркестане, сначала при генерале Черняеве, который стремился достичь альянса с религиозными элитами, затем при Романовском, протее Оренбургского губернатора Крыжановского, который был глубоко враждебен исламу. Наконец, исследователь обращается к выработанной фон Кауфманом политике «игнорирования» ислама, которая стремилась (не вполне успешно) разорвать связи государства с религией.

Отсутствие каких-либо активных мер, направленных на подрыв ислама, в это время ставилось под сомнение, а политика в целом стала предметом пересмотра в 1898 г., когда Дукчи ишан (суфийский религиозный лидер) напал на русский гарнизон Андигана, в результате чего было убито двадцать два солдата. Этот эпизод породил приступ самоанализа и паранойи, несоразмерных серьезности произошедшего, из-за чего генерал-губернатор Духовской написал часто упоминаемый рапорт по «мусульманскому вопросу». Его рекомендация предоставить Туркестану контролируемое государством исламское руководство, родственное Оренбургскому магометанскому духовному собранию, не была услышана.

Литвинов, по-моему, уделяет слишком много внимания (учитывая, что 97 % населения Туркестана составляли мусульмане, даже в степном регионе они составляли свыше 70 %) религиозным меньшинствам, таким как индуистские торговцы или католики. В главе недостаточно четко прописана решающая роль ислама как маркера различий между русскими и населением Центральной Азии, а также то, насколько официальная паранойя по поводу возможности религиозного бунта или «газавата» приводила к исключительно осторожной и консервативной политике в данном регионе. Это означало очень осторожную политику России в отношении религиозных проблем, это также являлось одним из основных факторов, заставлявших власть сохранять военное правление в Туркестане и сопротивляться расширению представительных институтов в регионе¹.

¹ В данном случае важной оказывается работа Броуэра: [Brower 2003: 94–102].

Написанная Абашиным глава «Национальная классификация населения Центральной Азии» (С. 259–276) представляется блестящей; само ее включение в книгу является признанием, весьма нечастым в современной российской историографии, что социальные и этнические категории можно рассматривать как конструкты. Исследователь не утверждает прямо, что ценз 1897-го г. «породил» этнические и лингвистические идентичности в Центральной Азии, тем не менее он демонстрирует, насколько сложными они были в досоветский период. Его анализ попыток русских ориенталистов и этнографов понять, что же в действительности означали в Центральной Азии такие термины, как «мусульманин», «киргиз», «узбек» или «таджик», представляется замечательно ясным.

«Проблеме сартов» по праву уделено особое место, поскольку она остается наиболее устойчивой проблемой, связанной с идентичностями в Центральной Азии дореволюционной эпохи. Абашин показывает, что несмотря на немалые усилия таких ученых, как В.В. Бартольд и Н.П. Остроумов, никакого четкого понимания или определения данного термина до 1917 г. выработано не было. Последний раздел «Этнографическая классификация и колониальное управление» написан с опорой на работу Адиба Халида. Абашин делает вывод о том, что, несмотря на выработку более тонких инструментов классификации местного населения, единственными категориями, которые реально имели значение с административной точки зрения, являлись те, которые делили население на «оседлые» и «кочевые» группы, отражая разные образы жизни, хотя при этом, по-видимому, не уделяя достаточного внимания широко распространенному полуномадизму. Говоря правовым языком, все жители Туркестана были «иностранцами», хотя русские и говорили о них обобщенно как о «туземцах». Вопрос о том, насколько этнография поздней имперской эпохи играла роль в формировании национальных республик в СССР, интригует, однако находится вне проблематики, затронутой данным сборником¹.

Тринадцатая глава, посвященная «Политической жизни в Центральной Азии после 1905 г.» (С. 277–292), написана Бекмахановой, Абашиным, Васильевым и Котюковой. Только в недолго просуществовавшей второй Думе были хоть какие-то мусульманские депутаты из Туркестана, избранные на основе ценза, обладавшего еще более ограничительным характером, чем в европейской России; соответственно они играли маргинальную и незначительную роль в политической жизни Тур-

¹ См.: [Hirsch 2005: 30–61].

кестана непосредственно в предвоенный период [Khalid 1998: 233–235]. Поэтому не вполне понятно, почему в данной главе Думе уделено в два раза больше места, чем джадидам (С. 280–282), которые представляли в целом наиболее значимое политическое движение, хотя они отнюдь не были единичными. Далее их сваливают в одну кучу с пантюркизмом и панисламизмом, и хотя о подобной связи часто говорили истеричные царские чиновники, повторять все это здесь нет оснований.

Из работ Халида и других ясно, что для большинства джаидов их родиной, их Ватаном являлся Туркестан или же та самая империя, которой они оставались верны даже тогда, когда Османская империя вступила в 1914 г. в войну с Россией [Khalid 1998: 209–211, 237–238]. Этот факт признан, но общее представление о джаидизме, которое дает этот раздел сборника, является поверхностным.

Наиболее серьезные проблемы связаны с последним разделом, посвященным центрально-азиатскому восстанию 1916-го г. (С. 288–292). Он не только неадекватен по своему объему, но и совершенно испорчен следованием нарративу советской эпохи, согласно которому русские крестьяне-переселенцы вместе с казахами и киргизами боролись с царским режимом. Это грубая карикатура на то, что случилось на самом деле в 1916 г., на события, которые в действительности безусловно свидетельствуют против столь часто изображавшейся советскими историками благостной картинки «классовой солидарности» бедных русских и коренных жителей Туркестана.

Спровоцированный недовольством императорским указом, согласно которому «центрально-азиатов» должны были призывать в трудовые батальоны, бунт быстро перерос в выступление с целью изгнания русских крестьян-переселенцев, с которыми кочевое население прежде всего соперничало за землю и водные ресурсы. Большое количество свидетельств этнического характера бунта имеется даже в опубликованных сборниках документов, подготовленных в ранние советские времена, хотя отношения между казахами и русскими переселенцами в Семиречье были неважными уже в эпоху обследования региона комиссией Палена в 1908 г., что зафиксировано в многочисленных петициях от обеих сторон ([Восстание 1929; Джизакское восстание 1933]; см., например: [РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 45. Л. 238; Д. 46 Л. 21]). Резне русских переселенцев киргизами и казахами, населявшими Семиречье, были вполне под стать столь же жестокие ответные меры со стороны переселенцев, называвших местное население «собаками» [Brower 1996: 49].

В годы войны и революции проходили кампании по захвату земель русскими переселенцами, в особенности в Семиречье, что легитимировалось в качестве мести за бунт¹. Эти исторические вопросы весьма болезненны, но замалчивать их, как это делалось ранее, нельзя, и писать о них надо честно.

В четырнадцатой главе Арапов анализирует «Систему российских протекторатов в Центральной Азии: Бухара и Хива» (С. 293–312). Начинается глава не очень обещающе — с упоминания «типично стагнационного характера» экономик Бухары и Хивы до аннексии (см. выше). В.В. Бартольд являлся блистательным историком и ориенталистом, однако он был человеком своего времени, и едва ли разумно, как поступает Арапов, цитировать его высказывания по данной проблеме, никак их не комментируя. Тем не менее анализ Араповым завоевания региона и его дальнейшего политического статуса протектората в рамках империи представляется замечательно точным и ясным, как и описание автором внутренней администрации, населения, экономики и политики.

Глава включает необходимый обзор налогового режима, а также религиозных и светских элит в ханствах — вещей, которые все еще остаются недостаточно понятыми даже для эпохи после завоевания. Поначалу, оказавшись под властью русских, Бухара и Хива незначительно изменились: Хива до 1917 г. вообще оставалась весьма изолированной тихой заводью. Однако к концу XIX и к началу XX в. вслед за Заскаспийской железной дорогой русский капитал начал проникать в Бухару в гораздо больших масштабах, чем ранее, причем деловые люди заключали договоры с эмиром о выращивании большого количества хлопка на землях, принадлежавших правительству.

Рассказ Арапова о «просветителях» в Бухаре (С. 306–308), будучи подробным, подпорчен навязчивой идеей о том, что бухарские джадиды по большей части вдохновлялись панисламистскими и пантюркистскими идеями, что прочно отражает официальную паранойю, представленную в делах Охранного отделения, использовавшихся Араповым для его предыдущих публикаций, на которые он опирается в данном случае. Автору лучше было бы обратиться к писаниям самих джадидов.

Рассматривает Арапов и дебаты начала XX в. о том, должны ли протектораты быть полностью включены в империю — дебаты, стимулировавшиеся в значительной степени мрачными публикациями Д.Н. Логофета [Логофет 1909, 1911] (их автор не цитирует), а также серьезными антишиитскими бунтами, вспых-

¹ См.: [Buttino 1991; Буттино 2007: гл. 4].

нувшими в Бухаре в 1910 г. (С. 309–310). Это предложение было отвергнуто Столыпиным, но оно показывает направление, в котором двигалось официальное мышление, и если бы не революция, то вслед за юридическим упразднением эмирата вполне могла бы последовать фактическая интеграция Бухары в империю благодаря русским переселенцам и строительству железной дороги.

Арапов использует смесь из первичных источников, важнейшей работы Александра Семенова и своих собственных более ранних исследований, посвященных данному региону, хотя в главе отсутствуют упоминания старой, но все еще ценной монографии Сеймура Беккера, остающейся классической англоязычной работой по данному предмету. И что еще больше разочаровывает, нет упоминаний недавней блестящей работы Владимира Гениса, обладающей особой значимостью для понимания революционного периода, рассматриваемого Араповым в конце главы [Becker 1968; Генис 2003].

В пятнадцатой главе Васильев и Абашин обозревают «Образ центрально-азиатского региона в российском обществе» (С. 313–337), обращаясь к репрезентациям данного региона в официальном дискурсе и мышлении, литературе и визуальных искусствах, анализируя русские представления XVIII в. о «простодушных» казахах и их неспособности освоить сельское хозяйство и ремесло, мифы начала XIX столетия о «несметных богатствах Востока», которые были развеяны, когда азиатский стол министерства иностранных дел начал получать более точную информацию о Центральной Азии, и которые сменил доминирующий троп бедности и «отсталости»; ориенталистский стереотип центрально-азиатских государств и общества как «стагнирующих» и «неменяющихся» (взгляд, который, необходимо отметить, воспроизводится почти дословно в некоторых фрагментах рецензируемой книги); песни русских солдат об их дружбе с «мирными сартами» (что не всегда подтверждается документальными свидетельствами)¹; вычурные ориенталистские картины Василия Верещагина, участвовавшего в кампании против Бухары в 1867–1868 гг.

Здесь представлен замечательный анализ российских представлений о «цивилизующей миссии» России в данном регионе, того элемента имперской идеологии царизма, который отчетливо предвосхищает имперскую идеологию советской эпохи, хотя до 1917 г. подобные идеи не прикладывались так беспощадно. Прежде всего авторы не оставляют никаких сомнений в том, насколько коренные жители Центральной Азии

¹ См.: [Morrison 2006: 702].

были представлены в русских текстах культурно — а подчас даже и расово — занимающими более низкое положение, чем русские. Сходным образом, когда они рассматривают репрезентацию Центральной Азии с экономической точки зрения, они пишут, что «колониальный характер российского господства в Центральной Азии наиболее ярко отразился на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896-го г. в Нижнем Новгороде» (С. 328–329), где в Туркестанском павильоне были выставлены многообразные виды полезного сырья (прежде всего, понятное дело, хлопок), а также другие товары, которыми Туркестан снабжал имперскую экономику.

Авторы не делают вывода о том, что эта демонстрация была организована с целью убедить скептически настроенную публику в ценности Центральной Азии для России (что, как показано в других исследованиях сборника, было отнюдь не очевидно): павильон показывает, что как официальная, так и общественная точки зрения предполагали, что Центральную Азию *необходимо* эксплуатировать в качестве колонии. Дальнейшие попытки все большей и большей эксплуатации обставлялись, однако, при помощи риторики цивилизующей миссии, которую местные жители, как предполагалось, должны были принять с энтузиазмом. Это не означало, тем не менее, что они когда-либо смогут стать «европейцами»: они оставались «отсталыми» относительно русских.

Предполагаемая лень кочевого населения, а также его неспособность в полной мере обрабатывать свои земли использовались в качестве оправдания заселения степи русскими переселенцами, причем оседлое население подавалось как неленивое, но предпочитающее торговлю возделыванию земли. В целом этот вывод представляется, быть может, излишне жестким: намерения властей, может быть, и заключались в том, чтобы безжалостно использовать Центральную Азию, однако, как это часто происходило с царским империализмом, между стремлениями и их реализацией возникал существенный зазор. Тем не менее приятно найти такой честный и проницательный анализ некоторых риторических стратегий, использовавшихся для оправдания русского империализма в русской печати; некоторые другие авторы данного тома могли бы прочесть это с пользой для себя.

Далее следует чересчур краткий раздел, посвященный многочисленным ученым (филологам, этнографам, ориенталистам и т.д.), работавшим в Центральной Азии и накапливавшим сведения о ней. Абашин пишет о том, что одна из «Особенностей российского ориентализма» (С. 332–333) заключалась в том, что сами «представители Востока», вроде Чокана Валиханова, в полной мере участвовали в научных исследованиях.

Данное явление было распространено в России, между тем оно равным образом было известно и Британской империи¹. Однако краткая биография Владимира Наливкина, которую приводит Абашин, представляется весьма уместной. Глава завершается лаконичным обзором центрально-азиатских влияний на русскую музыку и искусство, например, на оперу «Князь Игорь» Бородина.

Первые два приложения представляют собой ответы русских ученых, работающих в Центральной Азии, на новые дебаты о русском империализме царской эпохи, которые начали появляться в данном регионе с начала 1980-х гг. и которые зазвучали в полный голос после распада СССР в 1991 г.² Сначала идет текст С.В. Тимченко, работающего в Алматы историка, анализирующего «Проблемы присоединения [опять присоединение!] Казахстана к России в современной казахстанской историографии» (С. 338–359). Тимченко описывает многообразные течения казахстанской историографии с начала 1980-х гг. Там, где эти направления обнаруживают приверженность представлениям советской эпохи о «дружбе народов», они описываются как «честные» и «объективные», там, где они критикуют царскую политику в Центральной Азии и упоминают русский колониализм и военный захват степи, они отбрасываются как проявления экстремистского, пристрастного национализма. Эти течения Тимченко называет «радикальной» школой казахстанской историографии, а ее главой — М.К. Козыбаева. В поддержку мысли о том, что намерения России в данном регионе в целом отличались великодушием, Тимченко просто приводит, никак не комментируя (С. 347–348), высказывания целого ряда русских офицеров о том, что они стремились к справедливости, миру и защите казахов от их врагов!

Наивность (или простодушие) подобного подхода достаточно очевидна, однако следует отметить, что подобные высказывания о своих добрых намерениях и великодушных чувствах по отношению к колонизируемым народам можно найти в *любой* европейской империи в *любую* эпоху, хоть среди британских офицеров на северо-западной границе, хоть среди французов в *Bureaux Arabes* Северной Африки³.

¹ См., например: [Trautmann 1997: 218–221] — об «индианизации» Азиатского общества Бенгала, а также о важном индийском вкладе в появление такой дисциплины, как индология.

² О более ранних дебатах подобного рода см.: [Weinermann 1993].

³ См., например, чрезвычайно напыщенную вступительную статью сэра Лепела Гриффина: [Griffin 1905: 17]; здесь он отмечает, что «руки англичан оставались чистыми в том, что касается сикхских войн и аннексии Пенджаба, на которую их вынудили помимо их воли неистовые, бесконтрольные страсти сикхских вождей и населения. <...> [Аннексия] была воспринята всем сикхским народом как справедливая». Автор был главным секретарем политического департамента Пенджабского правительства в 1870–1880 гг.

Далее Тимченко заявляет, что описание казахским историком К.К. Кенжебековым (в его книге, что интересно, слово «присоединение» использовано в заглавии) оренбургского и сибирского гарнизонов как военных подразделений, использовавшихся для оккупации Казахстана, сродни языку, который подходит для характеристики «фашистской Германии»! Понятно, что у кого-то могут вызывать сильные эмоции описание русской политики в Центральной Азии как «колониальной»; истоком является негативная семантика этого термина в советскую эпоху.

Те преувеличения, которые допускает Тимченко, едва ли полезны. На самом деле, завоевание Российской империей Степи нередко принимало насильственный характер, а русская армия воевала как с казахами (прежде всего с Кенесары Касымовым), так и с Кокандским ханством. В результате казахские орды потеряли немалую часть своей земли, а также лишились политической автономии. Кочевое население Центральной Азии не «приглашало» русских переселенцев занимать свои пастбища, а отношения между казахами, киргизами и русскими переселенцами в дореволюционный период оставались очень плохими [Weisensel 2000]. Возражать против использования таких терминов, как «колониальный» или «колонизация», описывая этот процесс, как делает Тимченко, абсурдно.

Несомненно, существуют проблемы с некоторыми работами современных казахстанских историографов, где делаются столь же абсурдные заявления о том, что «угнетение» казахского народа русскими может датироваться падением Астрахани или уничтожением Сибирского ханства. К примеру, Тимченко прав, указывая на то, что эта линия казахской историографии игнорирует экспансионистскую политику Кокандского ханства в степном регионе, преувеличивает степень экономической эксплуатации, которой подвергались казахи при царском режиме, а также игнорирует позитивные аспекты российского присутствия. Однако в современном Казахстане публикуются и прекрасные работы, особенно издательством «Дайк-пресс», которые Тимченко не упоминает¹. Отказ от того, чтобы просто посмотреть на насилие, военные меры и колониализм, присутствовавшие в царской политике в регионе, делает диалог между этими разными школами невозможным.

Во втором приложении Валентина Германова, русский историк, работающий в Ташкенте (ее муж Валерий также является

¹ Помимо издания текстов Тевкелева, о котором шла речь выше, я имею в виду два великолепных сборника документов с комментариями: [Жанаев, Инночкин, Санаева 2002; Малтусынов 2006]; последнее издание является удивительно богатым источником для изучения истории переселения русских крестьян в Казахстан.

сотрудником Института истории Узбекской академии наук), пишет о «Вторжении Российской империи в Среднюю Азию (заметки историографа на полях учебников по истории Узбекистана)». Текст Германовой — анализ одной-единственной книги, опубликованной в 2001 г. Это учебник Джумабая Рахимова по истории для девятого класса узбекской школы. Впервые я столкнулся с этой малоприятной книгой, когда получил в 2001 г. экземпляр Гоги Аброровича Хидоятова, хотя в то время я не вполне понимал, какая политическая позиция стоит за этим произведением. Среди прочего в книге представлена попытка изобразить хорезмшахов Тамерлана, Бабура, эмира Музаффара Бухарского, джадидских реформаторов и послереволюционных басмачей как непрерывную нить героических «узбекских» националистов, вовлеченных в борьбу за самоопределение против разнообразных врагов, а под конец — русских [Рахимов 2001: 5]. Этот смехотворный анахронизм, однако, не является причиной возражений Германовой, а равным образом и причиной того, почему учебник в 2003 г. был изъят по требованию российского посла в Узбекистане и заменен другим пособием, одним из авторов которого (что интересно) является Хидоятов (то, о чем я не знал, пока не прочитал данную статью).

Ввиду этого не вполне понятно, зачем нужна столь пространная критика этой книги. Германова обнаруживает в ней множество фактических ошибок, некоторые из которых являются мелкими, другие более существенными. Однако для нее, как и для Тимченко, основная проблема заключается в том, что Рахимов имеет смелость говорить об имперском и советском режимах в Центральной Азии как о «колониальных», а кроме того книга содержит большое количество антирусских высказываний. В этой связи она сравнивает Рахимова с печально известным советским историком М.Н. Покровским, который считал царский империализм «абсолютным злом». Покровский едва ли был объективным историком, но его работы, а также исследования других антиимпериалистически настроенных историков раннесоветской эпохи являются не более неточными и искажающими реальную картину, чем нарратив о «великой дружбе» между подчиненными народами империи и их «старшим братом», русским народом, нарратив, сменивший в 1940-х гг. раннесоветские установки, который оказывается предпочтительным для Германовой¹.

Ксенофобия никогда не должна приветствоваться, но рассматривать все попытки критики или пересмотра относительно

¹ См.: [Покровский 1923; Сафаров 1921; Галузо 1929; Tillet 1969], особенно [Tillet 1969: 32–34, 174–190], где речь идет о Центральной Азии.

русского правления в Центральной Азии в качестве формы *lèse-majesté*, призванной стимулировать этническую ненависть, как поступает Германова, едва ли представляется полезным. Большая часть работ узбекской историографии (или по крайней мере того, что публикуется в Узбекистане) действительно обладает невысокой научной ценностью. Однако основной проблемой этих работ является не их критическое отношение к русскому колониализму, но приверженность узко националистической повестке дня (*agenda*), которая в свою очередь отчасти является продуктом деспотического политического контроля (труды Ислама Каримова на сегодняшний день обладают тем же каноническим статусом, которым в советские времена обладали Маркс и Ленин)¹. Эта историография вторит старым советским работам об «этногенезисе» узбекской «нации»² и рассуждает о сложности центрально-азиатского общества до национальных демаркаций 1924-го г. (столь квалифицированно описанных Абашиным в этой книге), степени двуязычия и важности персидского / таджикского в качестве городского и официального языка.

Эта точка зрения, таким образом, игнорирует то, насколько современные центрально-азиатские национальные идентичности (в частности «узбекская»), отнюдь не «подавлявшиеся» в советский период, являются в действительности продуктом раннесоветской политики национального строительства³. Обо всем этом нет ни слова у Германовой, а равным образом у Тимченко относительно казахской историографии, хотя в данном случае это является менее значимой проблемой.

Шесть остальных приложений содержат полезную статистическую информацию о населении Туркестана, текст молитвы за царя, выработанный в Ташкенте в 1892 г., а также выдержки из Положения для Туркестана 1886-го г. и «Объяснительную записку» к «Степному положению» 1891-го г.

В своей рецензии я обращаю слишком много внимания на недочеты книги, а не на ее многочисленные сильные стороны: в качестве справочника эта работа окажется бесценной, а исторические суждения, предложенные в ряде глав, являются смелыми и убедительными: здесь предложены перспективные пути для новых исследований. Фактические ошибки и упрощения неизбежны в работе такого масштаба, и редакторы с самого начала четко дают понять, что в задачу авторов книги входит

¹ См., например: [Абдурахманова, Рустамова 1999].

² См.: [Slezkine 1996; Laruelle 2008].

³ На сегодняшний день литература об этом является огромной. См., в частности: [Baldauf 1991; Slezkine 1994; Martin 2000; Haugen 2003; Khalid 2005].

ло создание пособия, а не коллективной монографии. «Центральная Азия в составе Российской империи» демонстрирует некоторые из наиболее сильных сторон современной российской исторической науки, в частности строгий эмпиризм, а также плодотворное сочетание исторического исследования и антропологической полевой работы.

Тем не менее весьма ограниченное обращение к современной западной историографии, посвященной данному региону, а также упорство, с которым воспроизводятся некоторые историографические тропы советской эпохи, вызывает беспокойство, даже если избитая мысль о «прогрессивном значении присоединения Средней Азии к России» в конце концов и оказывается отставленной в сторону. В этом отношении показательны статьи Тимченко и Германовой. Очевидно, что они не могут рассматривать термин «колониализм» иначе, чем оскорбление, причем оскорбление, принимаемое на личный счет. В советский период «колониализм» и «империализм» являлись вещами, на которые способны лишь буржуазные государства. *Следовательно*, Советский Союз (а начиная с 1940-х гг., благодаря забавному расширению, его имперский предшественник) не мог быть «колонизирующей» силой.

Это направление мышления было соединено со старыми славянофильскими представлениями о «естественной», «органической» природе русской экспансии до такой степени, что многие русские историки твердо уверены в том, что сами русские люди не способны на то, чтобы быть «колонизаторами»: убежденность, счастливо сосуществующая с неопровержимыми свидетельствами роста в городах европейской России расистских настроений, объектом которых являются кавказцы и выходцы из Центральной Азии.

Я говорю «европейская» намеренно, поскольку мой опыт изучения городских сообществ Ташкента и Алматы (подлинно космополитических) свидетельствует, что эти напряженные отношения гораздо менее заметны здесь и что в целом межэтнические отношения остаются хорошими. Существование достаточно гармоничного мультиэтнического общества в Казахстане является поистине впечатляющим советским (и постсоветским) достижением¹. Оно становится еще более впечатляющим, учитывая, сколь мало обещавшим было начало: экспроприация казахских земель для русских крестьян-переселенцев, межэтническое насилие восстания 1916 г., захват зе-

¹ См., однако: [Laruelle, Peyrouse 2004]. Авторы отмечают, что в начале 1990-х гг. в Казахстане были немалые этнические трения между русскими и казахами, которые в значительной степени снимались благодаря эмиграции многих русских, а также уходу значительной части оставшихся из политической сферы.

мель русскими переселенцами сразу после революции 1917 г., гибель почти 40 % казахов во время коллективизации и насильственного принуждения к оседлому образу жизни после 1928 г.¹, а также использование Центральной Азии в качестве места высылки нежелательных народов, таких как чеченцы, волжские немцы и корейцы.

Я не призываю молчать о неудобных фактах прошлого из страха обострить отношения в настоящем: общества ни в коем случае не забывают подобные события, и если они не становятся предметом открытого обсуждения историков, они могут оказаться болезнетворными, стать объектом искажения или манипуляций (как до некоторой степени происходит в Узбекистане и Казахстане) и в конце концов привести к печальным последствиям. Неспособность признать это сложное колониальное наследие затрудняет возможность выявить, где же на самом деле корни относительной центрально-азиатской межэтнической гармонии. Мне кажется, что их следует искать в пост-сталинской эпохе, и некоторые недавние исследования указывают на это [Pohl 2007].

Страхи и фрустрация, выраженные в статьях Тимченко и Германовой, понятны и неудивительны: сходная поляризация имела место в историографии Британской империи в 1950–1960 гг., причем некоторые историки (по большей части британские, хотя и не только) полагали, что империя была в значительной степени (или даже в целом) благотворной институцией, тогда как другие (по большей части из только что получивших независимость колоний типа Индии) заявляли, что в значительной степени влияние империи было губительным и разрушительным [Thornton 1999]. Одно из отличий заключалось в том, что у британских историков употребление таких терминов, как «империализм» и «колониализм», не вызывало нервозности; другое заключалось в том, что до недавнего времени (когда возникает власть большинства в Зимбабве и Южной Африке) деколонизация не приводила к ситуации, при которой значительные белые поселенческие меньшинства оказывались под властью туземных народов.

Некоторые дебаты по поводу Британской империи все еще движутся по этому тупиковому пути [Ferguson 2003]², но в целом за последние тридцать лет поляризации поубавилось. А кроме того мы признали, что сложность империалистиче-

¹ См.: [Pianciola 2004; Ohayon 2006].

² Данная книга является влиятельной, хотя и ошибочной попыткой защитить британский империализм, чьи наиболее суровые критики на сегодняшний день по большей части находятся в американском академическом мире; см.: [Dirks 2006].

ского наследия делает не только трудными, но и бесплодными попытки свести его к черному и белому, правым и виноватым. Рецензируемая книга не оставляет сомнений в том, что в историографии русского империализма начинаются сходные процессы, и подчас они оказываются болезненными.

Список сокращений

РГИА — Российский государственный исторический архив
JESHO — Journal of the Economic & Social History of the Orient

Библиография

- Абдурахманова Н., Рустамова Г.* Колониальная система власти в Туркестане. Ташкент: Университет, 1999.
- Брусина О.И.* Славяне в Средней Азии. М.: Восточная Литература, 2001.
- Буттино М.* Революция наоборот. Средняя Азия между падением царской империи и образованием СССР. М.: Звенья, 2007.
- Восстание 1916 г. в Средней Азии // Красный Архив. 1929. № 3 (34). С. 39–94.
- Галузо П.Г.* Туркестан-колония. М.: Ун-т трудящихся Востока, 1929.
- Генис В.* Вице-консул Введенский. Служба в Персии и Бухарском ханстве (1906–1920 гг.). М.: Социально-политическая мысль, 2003.
- Гирс Ф.К.* Отчет ревизирующего по Высочайшему Повелению Туркестанский край. СПб.: Сенатская Тип., 1884.
- Джизакское восстание в 1916 г. // Красный Архив. 1933. № 5 (60). С. 60–91.
- Жанаев Б.Т., Иночкин В.А., Санаева С.Х.* (ред.). История Букеевского ханства 1801–1852 гг. Алматы: Дайк-Пресс, 2002.
- Книзе А.И., Юферев В.И.* Хлопководство // Азиатская Россия. СПб.: изд-во Переселенческого управления, 1914. Т. 2. С. 278–286.
- Кривошеин А.В.* Записка главноуправляющего земледелием и землеустройством о поездке в Туркестанский край в 1912 году. СПб.: Государственная типография, 1912.
- Логофет Д.Н.* Страна бесправия. СПб.: В. Березовский, 1909.
- Логофет Д.Н.* Бухарское ханство под русским протекторатом. СПб.: В. Березовский, 1911.
- Малтусынов С.Н.* (ред.). Аграрная история Казахстана (конец XIX — начало XX в.). Алматы: Дайк-Пресс, 2006.
- Наливкин В., Наливкина М.* Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. Казань: Университетская типография, 1886.
- Пален К.К.* Всеподданнейшая записка, содержащая главнейшие выводы отчета. СПб.: Сенатская типография, 1910.

- Позняков П.В.* Русские поселки в Голодной Степи Самаркандской области // Справочная книжка Самаркандской области. Вып. 7. Самарканд: Тип. «Товарищества», 1902. С. 4–22.
- Покровский М.Н.* Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. М.: Красная новь, 1923.
- Рахимов Ж.* История Узбекистана. Вторая половина XIX века — начало XX века. Класс 9. Ташкент: Узбекистон, 2001.
- Сальков В.П.* «Андижанское восстание» в 1898 г. Казань: Университетская типография, 1901.
- Сафаров Г.* Колониальная революция. М.: Госиздат, 1921.
- Серебренников А.Г.* Туркестанский край. Сборник материалов для истории его завоевания. 1865 г. Ташкент: Тип. Штаба Туркестанского военного округа, 1914. Ч. 1.
- Синицын Л.* Заметки по поводу наших переселенцев // Туркестанские ведомости. 1888. 15 марта.
- Хидоятов Г.А.* Из истории англо-русских отношений в Средней Азии в конце XIX века. Ташкент: ФАН, 1969.
- Хидоятов Г.А.* Британская экспансия в Средней Азии. Ташкент: ФАН, 1981.
- Чехович О.Д.* О некоторых вопросах истории Средней Азии XVIII–XIX веков // Вопр. ист. 1956. № 3. С. 84–95.
- Эрофеева И.В.* (ред.). История Казахстана в русских источниках XVI–XX веков. Т. 3. Журналы и служебные записки дипломата А.И. Тевкелева по истории и этнографии Казахстана. Алматы: Дайк-Пресс, 2005.
- Alam M.* Trade, State Policy and Regional Change: Aspects of Mughal-Uzbek Commercial Relations, c. 1550–1750 // JESHO. 1994. Vol. 37. No. 3. P. 202–227.
- Baldauf I.* Some Thoughts on the Making of the Uzbek Nation // Cahiers du Monde Russe et Soviétique. 1991. Vol. 32. No. 1. P. 79–96.
- Becker S.* Russia's Protectorates in Central Asia. Bukhara and Khiva. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968.
- Brower D.* Kyrgyz Nomads and Russian Pioneers: Colonization and Ethnic Conflict in the Turkestan Revolt of 1916 // Jahrbücher für Geschichte Ost Europas. Neue Folge. 1996. Bd. 44. Hft. 1. P. 41–53.
- Brower D.* Turkestan and the Fate of the Russian Empire. L.: RoutledgeCurzon, 2003.
- Buttino M.* Turkestan 1917: la Revolution des Russes // Cahiers du Monde Russe et Soviétique. 1991. Vol. 32. No. 1. P. 66–71.
- Correspondence Respecting Central Asia // Parliamentary Papers. Central Asia. 1873. No. 2. P. 70–75.
- Dale S.* Indian Merchants and Eurasian Trade 1600–1750. Delhi: Cambridge University Press, 1994.
- Dirks N.* The Scandal of Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.

- Ferguson N.* Empire: How Britain Made the Modern World. Harmondsworth: Allen Lane, 2003.
- Frank A.J.* Islam and Ethnic Relations in the Kazakh Inner Horde // M. Kemper, A. von Kügelgen et al. (eds.). Muslim Culture in Russia and Central Asia. Berlin. 1998. Vol. 2. P. 211–242.
- Frank A.J.* Muslim Religious Institutions in Imperial Russia. Leiden: Brill, 2001.
- Gommans J.* The Horse Trade in 18th-Century South Asia // JESHO. 1994. Vol. 37. No. 3. P. 228–250.
- Griffin L.* Ranjit Singh and the Sikh Barrier between our Growing Empire and Central Asia. Oxford: Oxford University Press, 1905.
- Haugen A.* The Establishment of National Republics in Soviet Central Asia. L.: Palgrave Macmillan, 2003.
- Hirsch F.* Empire of Nations. Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005.
- Holzwarth W.* Relations between Uzbek Central Asia, the Great Steppe and Iran, 1700–1750 // S. Leder, B. Streck (eds.). Shifts and Drifts in Nomad-Sedentary Relations. Wiesbaden: Dr Ludwig Reichert Verlag, 2005. P. 179–216.
- Holzwarth W.* The Uzbek State as reflected in Eighteenth-century Bukharan Sources // Asiatische Studien. 2006. Vol. 60. No. 2. P. 321–353.
- Khalid A.* The Politics of Muslim Cultural Reform. Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 1998.
- Khalid A.* Theories and Politics of Central Asian Identities // Ab Imperio. 2005. No. 4. P. 313–326.
- Khodarkovsky M.* Russia's Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire 1500–1800. Bloomington: Indiana University Press, 2002.
- Laruelle M., Peyrouse S.* Les Russes du Kazakhstan: Identités nationales et nouveaux états dans l'espace post-soviétique. Paris: Maisonneuve & Larose, 2004.
- Laruelle M.* The Concept of Ethnogenesis in Central Asia: Political Context and Institutional Mediators (1940–50) // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 9. No. 1. P. 169–188.
- Levi S.* India, Russia and the Transformation of the Central Asian Caravan Trade // JESHO. 1999. Vol. 42. No. 4. P. 519–548.
- Levi S.* The Indian Diaspora in Central Asia and its Trade, 1550–1900. Leiden: Brill, 2002.
- Mackenzie D.* The Lion of Tashkent. The Career of General M.G. Cherniaev. Athens, GA: University of Georgia Press, 1974.
- Mackenzie D.* Turkestan's Significance to Russia // Russian Review. Apr. 1974. Vol. 33. No. 2. P. 167–188.
- Markovits C.* The Global World of Indian Merchants. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Martin T.* The Affirmative Action Empire. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000.

- Morrison A.* Russian Rule in Turkestan and the Example of British India // Slavonic and East European Review. October 2006. Vol. 84. No. 4. P. 666–707.
- Morrison A.* Russian Rule in Samarkand 1868–1910. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Ohayon I.* La sédentarisation des Kazakhs dans l'URSS de Staline. P.: Maisonneuve & Larose, 2006.
- Pahlen K.K.* Mission to Turkestan. Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Pianciola N.* Famine in the Steppe. The Collectivization of Agriculture and the Kazakh Herdsmen, 1928–1934 // Cahiers du monde russe. 2004. Vol. 45. No. 1–2. P. 137–192.
- Pohl M.* The “Planet of One Hundred Languages”. Ethnic Relations and Soviet Identity in the Virgin Lands // Peopling the Russian Periphery. Borderland Colonization in Eurasian History. L.: Routledge, 2007. P. 238–261.
- Sahadeo J.F.* Creating a Russian Colonial Community: City, Nation and Empire in Tashkent, 1865–1923. University of Illinois, Urbana-Champaign, Ph.D. Thesis, 2000.
- Sahadeo J.F.* Epidemic and Empire: Ethnicity, Class and Civilisation in the 1892 Tashkent Cholera Riot // Slavic Review. Spring 2005. Vol. 64. No. 1. P. 117–139.
- Sahadeo J.F.* Russian Colonial Society in Tashkent, 1865–1923. Bloomington: Indiana University Press, 2007.
- Slezkine Y.* The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. Summer 1994. Vol. 53. No. 2. P. 414–452.
- Slezkine Y.* N.Ya. Marr and the National Origins of Soviet Ethnogenetics // Slavic Review. Winter 1996. Vol. 55. No. 4. P. 826–862.
- Thornton A.P.* The Shaping of Imperial History // The Oxford History of the British Empire. Oxford: Oxford University Press, 1999. Vol. 5. P. 612–633.
- Tillet L.* The Great Friendship. Soviet Historians on the Non-Russian Nationalities. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969.
- Trautmann T.R.* Aryans and British India. Berkeley: University of California Press, 1997.
- Weinermann E.* The Polemics between Moscow and Central Asians on the Decline of Central Asia and Tsarist Russia's Role in the History of the Region // Slavonic and East European Review. July 1993. Vol. 71. No. 3. P. 428–481.
- Weisensel P.* Russian-Muslim Inter-ethnic Relations in Russian Turkestan in the Last Years of Empire // J. Morrison (ed.). Ethnic and National Issues In Russian and Eastern European History. L.: Macmillan, 2000. P. 47–60.

Александр Моррисон

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума



Кэролайн Хамфри. *Постсоветские трансформации в азиатской части России. Антропологические очерки.* М.: Наталис, 2010. 382 с.

Кэролайн Хамфри — поистине знаменитая / знаменательная личность и ученый. Она принадлежит к очень небольшому числу западных исследователей, которым удалось в брежневские времена провести настоящее полевое антропологическое исследование в СССР, и не где-нибудь в Москве или Ленинграде, а вдали от этих более или менее социально продвинутых центров — в Бурятии, в сельской глубинке. Как у нее это получилось — сказать трудно (сама Хамфри рассказывает кратко об этой истории в предисловии к рецензируемой книге). Возможно, сыграла свою роль кратковременная международная разрядка, затихание холодной войны в конце 1960-х и начале 1970-х гг. или тот факт, что родители самой Хамфри были связаны, пусть в прошлом, с коммунистическим движением. Но в любом случае результатом этого исследования стала изданная в 1983 г. на английском языке объемная книга «Коллектив Карла Маркса: экономика, общество и религия в одном сибирском коллективном хозяйстве» [Humphrey 1983] — едва ли не единственная антропологическая работа, написанная об СССР «эпохи развитого социализма» иностранным («буржуазным»!) автором по собранным им самим полевым материалам.

Крах СССР в 1991 г. широко распахнул бывшее советское пространство для западных антропологов, и книга Хамфри из труда о труднодоступной советской «экзотике» моментально превратилась в популярную

Сергей Николаевич Абашин
Институт этнологии
и антропологии РАН,
Москва
s-abashin@mail.ru

и важную ссылку, даже в своеобразную точку отсчета для понимания, как было организовано советское общество на локальном, микросоциальном уровне и что, следовательно, стало происходить с этими институтами, отношениями и представлениями после того, как советская идеология перестала быть скрепляющей их рамкой. Сама Кэролайн Хамфри, к слову, написала продолжение своей книги о «Коллективе Карла Маркса» и дала переизданному в 1998 г. труду говорящее название — «Маркс ушел, Карл остался» [Humphrey 1998].

Опубликованный на русском языке и рецензируемый мною сборник статей британской исследовательницы является развитием и расширением (тематическим, географическим и концептуальным) проблематики, которая была изначально заложена в первой книге о советско-бурятском колхозе и которая затем рассматривалась и углублялась во второй упомянутой монографии.

Антропологическое (или этнографическое, в данном случае неважно) изучение (пост)социализма столкнулось с некоторыми дилеммами¹. После 1991 г. очень быстро выяснилось, что посткоммунистические общества развиваются не по «западной» (либеральной) траектории, а какими-то совершенно неожиданными и не всегда понятными и прогнозируемыми зигзагами. Возник соблазн объяснить этот факт «социалистическим наследием», которое сформировалось в советское время и которое теперь определяет специфику «постсоветских трансформаций». Это давало привлекательную возможность критики таких универсалистских (или европоцентристских) концепций, как «переход», «модернизация», «развитие» и написанных с их помощью детерминистских сценариев истории. Социализм / марксизм, который сам был изобретен как «другая» универсалистская (и даже европоцентристская) концепция, был и по-прежнему оставался мощным орудием борьбы с европейским либерально-модернизационным универсализмом². «Антропология (пост)социализма» позволяла также критиковать эссенциалистское понимание «национальной (этнической) культуры», обращая внимание на то, что национальные особенности формируются под воздействием определенных социальных и политических условий.

Однако «социализм» в таком антропологическом взгляде сам превращался в особую «культуру» со специфическими практи-

¹ Кстати, сама Хамфри сформулировала эти дилеммы в одной небольшой заметке [Humphrey 2002].

² Не случайно антрополог Кэтерин Вердери, одна из наиболее последовательных приверженцев изучения «(пост)социализма» как отдельного «поля», пытается найти пересечения с концепцией «постколониализма» (см.: [Chari, Verdery 2009]).

ками и идентичностями. И такая трактовка выглядела, с одной стороны, как продолжение вроде бы умершей или умирающей советологической традиции (которая сводила все объяснения общества к жестким структурным особенностям тоталитаризма), с другой — как своеобразная эссенциализация «советского», превращение «(пост)советского / (пост)социалистического» в культурного «другого» (по отношению к «Западу») и объединение под этим термином слишком разных исторических и биографических судеб. Оба подхода, таким образом, имеют свои ограничения и не дают методологического удовлетворения.

Эта дилемма является одной из внутренних, на первый взгляд не очень заметных, интриг, которую мне было интересно наблюдать, читая книгу Хамфри. В тексте мы не видим целостной, систематически изложенной и логически выстроенной концепции «(пост)социализма». Британская исследовательница хорошо понимает все опасности такого обобщения и поэтому, избегая однозначных суждений, пишет эмпирическую этнографию отдельных сюжетов и вопросов. Однако само деление на разделы, охватывающие темы социального устройства, экономики, инфраструктуры и духовной жизни, оставляет ощущение претензии именно на объемный анализ «(пост)социализма». Опасности, которые я упоминал, не исчезают, даже если их спрятать за эмпиризмом, но остаются и во многом определяют восприятие текста читателем.

В первый раздел, названный «Социальное устройство», включены две статьи. В одной из них — «Судьбы традиционных социальных иерархий в коммунистических России и Китае» — Хамфри делает сравнительный анализ того, что происходило с традиционными социальными иерархиями у бурят, народности «и» и китайских монголов в ходе преобразований в СССР и КНР. Хамфри пытается показать, что на изменения влиял как характер самой иерархии, который был у общества до этого, так и характер проводимых реформ. У бурят, как считает ученый, прежние, довольно аморфные, социальные иерархии не могли сопротивляться репрессивной политике уничтожения элиты и насильственного перемешивания социальных групп. Советизация и русификация, по мнению Хамфри, имели очень глубокий характер: они разрушали социальные барьеры, а не консервировали их, как это было в случае с китайскими реформами, которые лишь перекодировали прежние социальные статусы в новые иерархии.

Во второй статье «Неравенство и исключенность: эмоциональный компонент российской политической культуры» ставится вопрос о том, почему некоторые виды неравенства не замеча-

ются и становятся для людей проблемой, а некоторые — наоборот, нагружаются большой эмоциональностью. Хамфри выступает против монополии экономического и рационального толкования неравенства, переключая свое внимание на субъективное восприятие последнего, которое формируется, например, через политическую культуру. В советской России сложилось, как она считает, представление о «единстве», поддерживающееся за счет дихотомии «мы» и «они», а, соответственно, и за счет постоянного исключения разных людей и групп из этого «единства» («коллектива»). В постсоветскую эпоху экономическое неравенство стало вопиющим, но у людей остались прежние советские представления о «неравенстве», прежние практики исключения «чужих» и способы создания дискурсивного пространства неравенства (доступа к тем или иным символическим благам, символическому общему «телу»).

Второй раздел «Преобразования в экономике» состоит из трех статей. Первая статья «Торговля, “беспорядок” и “режимы гражданства” в российской провинции 1990-х гг.» начинается с отказа от либерально-модернизационной теории «перехода» и марксистской «стадиальной» теории для объяснения феномена постсоветской торговли. Вместо этого Хамфри выделяет и по отдельности анализирует разные категории торговцев (бизнесмены, брокеры, перекупщики, челноки, предприниматели, коммерсанты, «торговые меньшинства» — кавказцы, среднеазиаты и китайцы). Она описывает торговлю как отношения доверия, в которых были задействованы все виды личных связей. Хамфри интересуется также, как происходит борьба между «режимами гражданства» (сложными иерархиями локальных привязанностей), сложившимися в советское время и разделяющими общество на «коренных» и «приезжих», и торговцами, пересекающими границы и ставящими под угрозу «социальное тело», которое привязано к определенной территории.

В статье «Грязный бизнес, “нормальная жизнь” и мечты о законе» продолжается анализ деятелей постсоветской экономики. Хамфри отвергает дихотомическую модель, в которой есть только «старые» советские кадры с прежними корпоративными практиками и новые рыночные предприниматели. Вместо этого британская исследовательница различает много разных экономических акторов, отличающихся особыми практиками и собственными «правилами игры».

Последняя статья раздела называется «Крестьянство и натуральное хозяйство как идеологемы современной России». Хамфри перечисляет и рассматривает постсоветские аграрные практики (приусадебные участки, дачные участки, фермер-

ство) и ставит вопрос: почему, несмотря на возрастание их значения в самообеспечении людей, последние не называют себя «крестьянами». Ответ она ищет в советском времени, когда у людей сформировались представления, в которых «крестьянскому образу жизни» приписывался отсталый, непрестижный характер. «Советское наследие» опять предопределяло стратегии выстраивания социальных предпочтений, названий, статусов.

Третий раздел «Инфраструктура и архитектура» начинается со статьи «Виллы “новых русских”». Очерк постсоветских моделей потребления и культурной идентичности». Хамфри исследует идентичность «нового русского», то, как она навязывается извне и выстраивается изнутри. Идентичность строится из разрозненных элементов, которые противоречат друг другу и поэтому выглядят нелепо. Эти элементы не столько маркируют принадлежность к какой-то социальной группе, сколько определяют жизненные притязания. Вилла остается лишь символом, а не реальным пространством жизни, символом эклектичным, который включает в себя ресурсы и русской истории, и европейской культуры, а также ориентируется на противоречивые и аморфные общественные представления и настроения. «Новые русские», пишет Хамфри, не являются полными хозяевами своей культурной идентичности, они по-прежнему приспособляются к российским вкусам и ограничениям, сформировавшимся в советское время.

Другая статья раздела, несколько искусственно, по-моему, объединенная с предыдущей, — «Новый взгляд на инфраструктуру: сибирские города и “большой январский мороз” 2001 г.». Взрыв на ТЭЦ–1 в Улан-Удэ в 2001 г., пишет Хамфри, показал, что жизнь (пост)советского города целиком зависит от инфраструктуры — общественного транспорта, общей системы электрификации, отопления и т.д. Постсоветские реформы, вроде бы включающие Улан-Удэ в глобальный мир, в действительности привели к кризису инфраструктуры, и последняя превратилась в источник проблем и беспокойства. Изменились практики передвижения по городу и пользования услугами (пространство увеличилось, время сжалось, вопреки ожиданиям), произошла скорее утрата модерности, нежели переход к «современному обществу».

Большинство статей книги посвящены Бурятии, но в названиях разделов это зафиксировано только в одном случае — «Улан-Удэ — постсоветский опыт городских трансформаций». В этот раздел включены две статьи. В первой — «Суверенитет и повседневность: “система” маршрутных такси в столице Бурятии» — анализируются «локализованные формы суверени-

тета» (в противовес глобальным и национальным формам), «ранее немислимые социальные пространства», родившиеся в хаосе и неопределенности постсоветского времени. «Повседневные формы и практики суверенитета» на улицах Улан-Удэ в виде маршрутных такси, которые являются нелегальной системой, обеспечивают функционирование города. Этот микромир обладает собственной формой суверенитета: она может исключать, убивать, наказывать, собирает дань и т.д. Мафия оказалась эффективнее государства, при этом Хамфри проследживает ее корни в советском времени, вспоминая, как тогда были организованы официальные советские коллективы или неофициальные молодежные группировки.

Вторая статья раздела «Новые субъекты и ситуативная взаимозависимость — последствия приватизации в Улан-Удэ» продолжает блок текстов о новом пространстве небольшого сибирского города. Хамфри здесь обращается и к досоветской истории и проследживает формирование Улан-Удэ. Постсоветское время, по ее мнению, характеризуется раздроблением пространства на различные автономные — социальные и культурные — части, которые заново обживаются разными символами и ритуалами, разными социальными сетями.

В заключительном разделе «Духовная жизнь» читатель найдет статью «Сталин как Синий Слон: проблема паранойи и соучастия в (пост)коммунистических метаисториях», в которой рассказывается о восприятии истории сталинских репрессий через особый буддийский язык аллегорий и метафор. Согласно местным легендам, Сталин превращается в реинкарнацию Синего Слона, когда-то давно пообещавшего уничтожить буддизм. Хамфри видит в этой легенде «параноидальный дискурс», когда на других людей и на окружающий мир переносятся порожденные собственным подсознанием противоречия, параноик живет в искаженной сверхъестественной реальности, которую постоянно надо интерпретировать и разгадывать. При этом легенда, как считает ученый, обнажает проблему личной ответственности: снятие со Сталина вины за репрессии — это снятие персональной вины с каждого человека, который в них соучаствовал.

Последняя статья книги «Шаманы и шаманство как новый феномен городской жизни» рассказывает о том, как современные бурятские шаманы смотрят на городскую повседневность и какие дополнительные смыслы они в ней видят. Хамфри возвращается к своей мысли о том, что Улан-Удэ — модернистский город — после разрушения советского порядка распался на фрагменты, из которых невозможно воссоздать осмысленный порядок: везде хаос, пугающие и неизвестные области, разры-

вы, насилие. Шаманы в своем воображении, смешивая разные культурные образы, создают свой город, видят его как часть своего собственного мира.

Итак, в рецензируемой работе налицо набор довольно разнообразных очерков, которые отражают очень широкие исследовательские интересы Кэролайн Хамфри. Какой-то общей логической линией их объединяет постоянная, заметная отсылка к советскому времени — сформировавшимся в нем социальным практикам и представлениям, которые если не предопределяют постсоветские идентичности и действия, то по крайней мере накладывают на них заметный отпечаток.

Однако бросается в глаза, что большинство статей в оригинале были изданы в 1998–2004 гг., самая поздняя — о «последствиях приватизации» в Улан-Удэ — в 2007 г. Это означает, что чаще всего в них идет речь о том, что происходило в России (и в «азиатской» ее части) в 1990-е гг. Данное обстоятельство, безусловно, во многом повлияло и на выбор тем для анализа (приватизация, челночная торговля, «новые русские», дачная экономика, «мафия» и т.д.), и на оптику их рассмотрения: акцент на распаде, хаосе, неопределенности, становлении неформальных сетей, усилении локальных привязанностей и пр. В 1990-е гг., вне всякого сомнения, «(пост)советское наследие» было живо и — это была общая уверенность — формировало поступки и мысли людей. Но читая статьи в 2010 г., мы видим, что многие темы уже потеряли свою актуальность и многие явления, характерные для эпохи Ельцина, уже почти исчезли или претерпели существенные изменения (кембриджская исследовательница сама признает этот факт в своем вступительном слове), возникли другие реалии, социальные группы, линии разделения, представления и идентичности. Разные части прежнего пространства, которые еще 30–50 лет назад двигались, как казалось, по сходящимся и пересекающимся траекториям, сегодня все дальше расходятся, все меньше похожи друг на друга и имеют разные ориентиры и перспективы в будущем. Все меньше эти трансформации можно объяснить отсылками к социалистическому прошлому. Исследователи этих новых процессов пытаются вставить их в более широкие, сравнительные контексты, в которых они становятся лишь случаем более общих тенденций изменения «Европы», «Запада», «Востока», «Юга», «Евразии», «постколониального мира», «глобального мира», «глобальной периферии и полупериферии» и т.д.

Наверное, рано предрекать конец «антропологии (пост-)социализма». Еще можно наблюдать, как, например, социалистический Китай, занимая геополитическое место бывшего СССР, сопротивляется такой «нормализации» (хотя, кажется,

и он готов сдаться ей). «Антропология социализма» по-прежнему сохраняет исторический интерес. Многие историки и антропологи отказываются помещать советскую эпоху в некую общую рамку, явно созданную по лекалам одной, написанной в американских и европейских университетах, истории (хотя и здесь можно видеть набирающее силу стремление объяснить социализм более общими закономерностями¹).

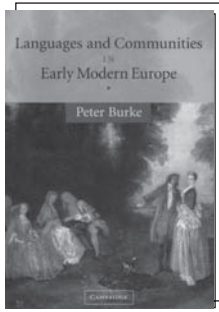
Книга Хамфри не подчиняется какой-то одной теоретической логике. Исследовательница в жанре не очень обязывающих очерков сохраняет дистанцию по отношению к большим концепциям, говорит о локальных примерах и не озвучивает ясно свою позицию по отношению к возможности или невозможности «антропологии социализма». Эта осторожная позиция, с одной стороны, может привлекать своей гибкостью, с другой стороны — смущать незавершенностью выводов. В любом случае она ставит читателя в положение, когда он должен сам решить, в какие концептуальные рамки ему следует включать прочитанное. Читатель становится невольным соавтором, додумывая и дописывая для себя книгу Хамфри и решая самостоятельно, имеет ли «антропология социализма» все еще право на существование.

Библиография

- Chari Sh., Verdery K.* Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography after the Cold War // *Comparative Studies in Society and History*. 2009. Vol. 51. No. 1. P. 6–34.
- Humphrey K.* Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Humphrey K.* Marx Went Away — But Karl Stayed Behind. Updated Edition of Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998.
- Humphrey K.* Does the Category ‘Postsocialist’ still Make Sense? // C. Hann (ed.). *Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia*. L.: Routledge, 2002. P. 12–15.
- Kotkin S.* Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjunction // *Kritika*. Winter 2001. Vol. 2. No. 1. P. 111–164.

Сергей Абашин

¹ Одним из наиболее ярких представителей этого направления является Стивен Коткин (см. [Kotkin 2001]).



Peter Burke. *Languages and Communities in Early Modern Europe.* Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 210 p.

Может показаться странным, что профессиональный лингвист рецензирует в антропологическом журнале книгу по европейской истории раннего Нового времени, причем делает это через семь лет после выхода книги. Однако книга Питера Бёрка¹ — настолько замечательное, полезное и интересное сочинение, что на нее очень хочется написать рецензию, причем рецензию не оценивающую, а реферативную, просто чтобы поделиться радостью от прочтения с теми, кто ее не читал. Что же касается семилетнего перерыва между выходом книги в свет и этой рецензией, то, во-первых, собранные в ней факты вряд ли способны устареть за семь лет, а во-вторых, раньше мне эта книга, увы, на глаза не попалась...

Коротко говоря, книга охватывает период от изобретения книгопечатания (1450 г.) до Французской революции (1789 г.) и посвящена тому, как на протяжении этого периода латынь в качестве языка образованной Европы постепенно уступала место локальным языкам (*vernaculars*), как последние боролись с латынью и друг с другом за «место под солнцем» и как затем некоторые из них, одержав победу, стали фундаментом для национальных языков. Конечно, я сильно упрощаю: книга Бёрка как раз про то, почему тут все не так просто и не так прямолинейно.

Николай Борисович Вахтин
Европейский университет
в Санкт-Петербурге
nvakhtin@gmail.com

¹ Peter Burke (p. 1937) — английский историк, профессор эмеритус Кембриджского университета, специалист по Возрождению. Автор 13 книг, в том числе “The Italian Renaissance” (1972), “The Renaissance” (1987), “A Social History of Knowledge” (2000), “What is Cultural History?” (2004).

Эта книга компилятивна в лучшем смысле этого слова, хотя ее трудно назвать популярной. Автор («ведущий специалист по культурной истории Европы», как сообщает аннотация) собрал, кажется, все вторичные источники по европейским языкам в интересующем его аспекте: в библиографии более 700 названий на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, голландском... Здесь работы старых и новых философов, историков, филологов, лингвистов; как опять же сообщает аннотация, «эта книга заменяет историю многих европейских языков в самых различных контекстах».

Книга состоит из пролога, шести глав, эпилога, приложения (список языков Европы 1450–1789 гг.), списка литературы и именного указателя.

Впрочем, еще до пролога помещена хронологическая таблица. Она занимает пять страниц и служит своего рода эпитафией: здесь перечислены все известные за этот период сочинения и события, важные для развития местных европейских языков, такие как 1461 г. — первая печатная книга по-немецки; 1468 г. — первая печатная книга по-чешски; 1471 г. — первая печатная книга по-итальянски; 1474 г. — первая печатная книга по-английски и т.д. Скрупулезно перечисляются все «первые печатные книги» вплоть до 1729 г., когда появилась первая печатная книга по-турецки; 1550 г. — датская Библия; 1560 г. — французский вытесняет латынь из судебных заседаний в Савойе; 1578 г. — публикация книги Estienne Deux dialogue...; 1608 г. — Собрание Сословий Богемии объявляет чешский язык официальным языком; 1642 г. — финская Библия; 1677 г. — Рудбек впервые читает лекции по-шведски; 1755 г. — Ломоносов, Русская грамматика; 1786 г. — основана Шведская Академия и т.д. Как впоследствии понимает читатель, все упомянутые здесь даты и события подробно комментируются в книге.

Пролог описывает основную задачу издания так — «поразмьшлять о меняющихся отношениях между языком и сообществом или, точнее, между языками и сообществами во множественном числе в Европе и других регионах, где говорили на европейских языках, от изобретения книгопечатания до Французской революции» (Р. 1). С какой стати историк культуры берется писать о языке? Почему не оставить это лингвистам? — спрашивает автор. И отвечает: потому что язык — очень чувствительный индикатор культурных перемен (хотя и не простое их отражение). В этом отношении английские заимствования из итальянского в XVI и XVII вв. могут многое рассказать нам о культуре двух стран (например, что в этот период Италия лидировала в области искусств, а Англия стремилась ее догнать). Автор рассуждает о понятии «социальная история

языка» — сравнительно новой и интересной области исследований, с которой он идентифицирует свою книгу, и характеризует свой подход как сравнительный. «Отчасти парадоксом звучит заявление о сравнительном изучении истории языка как о чем-то новом, поскольку пионеры сравнительной истории, такие как Марк Блок, заимствовали этот подход именно у лингвистов, таких как Антуан Мейе, которые в свою очередь следовали традиции XVIII в., если не более ранней, однако обзор вторичных источников показывает, что здесь явно преобладает изучение отдельных языков» (Р. 9).

Глава 1 посвящена «открытию языка» в Европе раннего Нового времени. Нельзя сказать, пишет Бёрк, что до этого люди не задумывались о языках, на которых говорили, однако именно начиная с середины XV в. и далее людей, осознававших, что существуют разные языки, становится все больше. Функционирование языка вообще и латыни в частности становится в это время объектом критического внимания прежде всего со стороны религиозных реформаторов. Подобные идеи высказывались в Италии, а также в Англии, где в середине XVII в., в эпоху гражданской войны, использование латыни отвергалось радикалами (Р. 15–16).

В этот период существовало два типа дискурса о языке, которые Бёрк называет «топосом уничижения» и «топосом гордости»: с одной стороны, в литературе этого периода подробно обсуждается и осуждается бедность и примитивность местных языков по сравнению с латынью; с другой — все чаще начинают раздаваться голоса, воспевающие «совершенство, богатство и точность» местных языков, которые не только не проигрывают в сравнении с латынью, но в чем-то и превосходят ее (Р. 17–19).

Постепенно пишущие начинают осознавать, что их местные языки меняются. Это влечет за собой интерес к их истории, а осознание того, что местные языки имеют историю, в свою очередь, обостряет внимание к ним. Появляются многочисленные сочинения об истории местных языков, их происхождении, происхождении отдельных слов; отдельная тема — на каком языке говорил Адам. Традиционно считалось, что на иврите, однако некоторые ученые утверждали, что по-халдейски или по-скифски (последний язык обычно отождествляли с готским, германским или кельтским). Однако теперь появляются книги, доказывающие, что Адам говорил по-французски, или по-фламандски, или по-шведски, а французский иезуит Иоахим Буве (Joachim Bouvet) и английский архитектор Джон Уэбб (John Webb) утверждали, что по-китайски (Р. 21).

Историки языка уже в этот период проявляли особый интерес к сельским говорам на том основании, что, поскольку крестьяне меньше общаются с иноплеменниками, они должны лучше сохранять архаичные и чистые языковые формы, подобно тому, как они сохраняют старые обычаи (Р. 24). Лейбниц писал в это время своему шведскому корреспонденту: «Для нас шведский в каком-то смысле то же, что для вас исландский, ибо чем более удалены области [распространения языка], тем лучше сохраняются древние языки», а английский священник Джон Уилкинс (John Wilkins) утверждал, что «любое изменение есть постепенный упадок» (Р. 25). (Триста лет прошло с тех пор, а эта идея, пройдя через Гегеля и Гердера, продолжает владеть умами многих лингвистов и культурологов, несмотря на свою очевидную несостоятельность.)

В этот же период появились и другие идеи, связанные с осознанием языкового разнообразия. Сегодня, пишет Бёрк, мы описали бы эти идеи как социолингвистические: например, мысль о том, что речь человека выдает его природу. Бен Джонсон писал, следуя за Сократом: «Язык вполне раскрывает человека: говори, чтобы я смог тебя распознать» (*speak, that I may see thee*); как и другие драматурги, Джонсон в своих пьесах использует речевое разнообразие для создания комического эффекта (Р. 26).

Тогда же возникли зачатки идеи социолектов. Было замечено, что речь образованных отличается от речи простого народа, речь горожан — от речи сельских жителей, речь клира — от речи светской; заметили, что нищие и воры используют собственные жаргоны; обратили внимание, наконец, что женщины говорят не так, как мужчины (Р. 33–35). Тогда же появился интерес к диалектам (Р. 35–38). Все эти особенности речи активно использовались в драме, поэзии, сатире.

Глава 2 называется «Латынь: язык в поисках сообщества». Здесь идет речь о тех сообществах (communities), которые выражали, укрепляли или создавали свое единство и сплоченность с помощью латыни. Нетрудно догадаться, что речь здесь идет прежде всего о католической церкви, а также о международном европейском сообществе ученых, философов, профессоров — о так называемой «республике грамоты» (Republic of Letters)¹. Кроме того, латынь объединяла еще четыре менее заметные

¹ *Respublica litterarum* — по-английски *Republic of Letters* или *Commonwealth of Learning*, по-русски как только не переводят: и «республика литературы», и даже «республика писем» (!); Питер Бёрк, обычно с великолепной небрежностью полиглотом оставляющий многие латинские, немецкие, французские, итальянские выражения вообще без перевода, этот термин поясняет: «*litterae*, буквально 'буквы', означало и учение, и литературу» (Р. 58); перевод «республика грамоты» кажется мне адекватным.

сообщества: юристов, чиновников, дипломатов и путешественников. Юристы и нотариусы использовали латынь довольно долго, причем не только в официальных юридических документах, но и, например, в протоколах допроса, где наряду с записью ответов допрашиваемого на местном языке часто можно встретить формулы типа *interrogatus respondit* «будучи спрошен, ответил» (Р. 44). Правительственные чиновники часто вели переписку по-латыни, особенно в многонациональной и многоязычной империи Габсбургов: это позволяло чиновникам, говорившим по-немецки, по-чешски, по-венгерски, по-хорватски, понимать друг друга (Р. 45). Языком дипломатии латынь оставалась на протяжении всего XVII в., а что касается путешественников, то и для них латынь была чем-то вроде *lingua franca* в их передвижениях по Европе (Р. 46–47).

Латыни как языку церкви Питер Бёрк посвящает специальный параграф (Р. 48–52). Использование латыни как языка богослужения на пространстве от Португалии до Польши создавало двойное ощущение приподнятости Церкви над повседневностью и ее универсальности. Это ощущение универсальности было сильно подорвано Реформацией, к чему, собственно, ее лидеры и стремились. Однако латынь еще долго выполняла свои функции в католических странах; сторонники Папы неодобрительно относились к идее перевода священных текстов с латыни на местные языки из опасения, что это приведет к распадению единой Церкви на то, что Бёрк называет «сообществами интерпретаций». Аналогичную функцию на востоке Европы в это время выполнял церковно-славянский, достаточно близкий местным славянским языкам, чтобы быть понятным, но все же отличающийся, чтобы создавать ощущение возвышенного: как с гордостью писал в 1623 г. один киевский монах, этот язык понятен от Адриатики до Арктики, что поддерживало ощущение принадлежности к наднациональному религиозному сообществу (Р. 52).

Что касается «Республики грамоты», то Питер Бёрк подробно пишет в этом параграфе о возникновении университетов, поскольку латынь была в них в этот период единственным языком обучения (по крайней мере, официально). Это позволило университетам стать панъевропейской системой, в пределах которой студенты могли свободно передвигаться из страны в страну. Получивший степень магистра имел право преподавать везде. «Лишь в последнее время, с распространением английского в качестве академического *lingua franca*, мобильность европейских студентов и преподавателей смогла вновь достичь уровня раннего Нового времени», — пишет автор (Р. 54). Однако латынь, которой пользовались в университетах, не была единой: мы, видимо, должны для этого времени и сферы

использования говорить о «латынях» по множественному числу, подобно тому, как современные лингвисты говорят об «английских языках» (Р. 56).

Латынь начала терять свои позиции с середины XVII в.; при этом интересна география этого упадка. Носители малых местных языков держались за латынь дольше, чем носители крупных языков: так, в Дании и Венгрии латынь держалась долго, прежде всего как противовес засилью немецкого (в Финляндии — шведского) (Р. 59). В других местах латынь все больше ассоциировалась с ученым педантизмом: изучение французской книжной торговли в XVII в. показывает резкий поворот от ученых латинских фолиантов первой половины века к томикам меньшего формата на местных языках — во второй (Р. 59).

В Главе 3 «Соперничество местных языков» речь идет о становлении местных европейских языков и их борьбе за сферы влияния. Первый параграф посвящен критике интерпретации истории (в том числе истории замены латыни местными языками) с точки зрения так называемой «виговской истории»¹. Несмотря на то что «виговский» взгляд не совсем неверен и в обобщенных терминах можно утверждать, что «местные языки триумфально сменили латынь», этот упрощенный подход нуждается в уточнении. Во-первых, латынь оказалась неожиданно устойчивой, особенно на востоке Европы. Во-вторых, сами языки-победители были отнюдь не однородны: латынь победили не «немецкий» и не «итальянский», а конкретные диалекты из большого числа соперничавших. В-третьих, при таком подходе существует опасность анахронического переноса в прошлое более поздней связи языка и нации. Наконец, термин «подъем», хотя и более нейтральный, чем «триумф» или «освобождение», довольно двусмыслен: неясно, идет ли речь о «подъеме» престижа, числа носителей или числа функций (Р. 62–64).

Перечислив далее дюжину сочинений на всех европейских языках, вышедших с 1529 по 1663 гг., Питер Бёрк пишет: «Основной целью всех этих речей и трактатов было подчеркнуть богатство, полноту или обильность одного языка и нищету его соперников» (Р. 66). Стояла задача показать, что свой

¹ Термин “Whig history” был придуман и использован британским историком Гербертом Батерфилдом в книге “The Whig Interpretation of History” (1931) для обозначения (и критики) телеологического, героического подхода к истории, когда исторические события задним числом оцениваются по их результату. Русскому читателю, учившемуся в советской школе, этот подход к истории хорошо знаком по словосочетаниям типа «триумфальное шествие советской власти». Применительно к своему материалу Питер Бёрк иллюстрирует этот подход названиями книг типа «триумф английского языка» (1953).

язык, во-первых, ничуть не хуже латыни, а во-вторых, гораздо лучше других местных языков. Голландские авторы превозносили голландский за ясность, краткость и точность и поносили французский — варварский и грубый; французские авторы не оставались в долгу: «Китайцы, как почти все жители Азии, поют; немцы трещат; испанцы декламируют; итальянцы вздыхают; англичане свистят. На самом деле, лишь французы разговаривают», — писал один из них (Р. 67). Резче всего критиковали, естественно, ближайших соседей.

Не вполне понятно, как интерпретировать эти многочисленные нарциссические высказывания, пишет далее Бёрк: как риторические упражнения авторов, которые с тем же успехом могли бы обосновывать противоположную точку зрения, или как скрытый комплекс неполноценности по отношению к латыни или, с конца XVII в. — к французскому (Р. 70).

Конечно, коль скоро в этой войне языков были победители, то должны были быть и побежденные: многие языки, такие как прусский или корнский, просто исчезли, другие оказались вытеснены из публичной сферы в семейную, в положение не-престижных диалектов. Рассуждения Питера Бёрка (Р. 70–72) о причинах упадка некоторых европейских языков выдержаны в современных терминах теории языкового сдвига и показывают, что вся эта терминология вполне применима к событиям 300-летней давности и не обязательно описывает только «исчезновение языков» в современном мире.

В последующих параграфах главы автор рассматривает соперничество местных языков в таких областях, как юриспруденция и государственное управление, политика, образование, религия, перевод. Последняя сфера использования местных языков интересна и мало изучена: нет количественных исследований переводов с одних европейских языков на другие, а при этом «кривая переводов с одного языка на другой — это приблизительный индикатор престижности этого языка» (Р. 80), а также показатель открытости той или иной культуры внешним влияниям. Глава заканчивается обсуждением метафоры языкового империализма, метафоры победителей и побежденных в этом споре языков и, наконец, параграфом о французском языке как новом общеевропейском *lingua franca*, которым он стал к середине XVIII в.

Главы 4, 5 и 6 посвящены трем связанным темам: стандартизации местных европейских языков, их взаимовлиянию («смешению») и, наконец, языковому пуризму. Эти темы настолько переплетены, что не всегда понятно, как их разделить (см. ниже).

Бёрк начинает с описания процесса создания академий и публикации нормативных грамматик и словарей: флорентийская академия — 1582 г.; парижская — 1635 г.; мадридская — 1713 г.; копенгагенская — 1742 г.; лиссабонская — 1779 г.; московская — 1783 г, стокгольмская — 1786 г. К 1550 г. были изданы грамматики итальянского, испанского, французского, португальского, немецкого и чешского языков. С 1550 по 1599 гг. — голландского, английского, польского, валлийского, словенского и церковнославянского. С 1600 по 1649 гг. — баскского, хорватского, датского, новогреческого, латышского. С 1650 по 1699 гг. — бретонского, эстонского, фризского, литовского, русского, сорбского и шведского. С 1700 по 1749 гг. — албанского, ретороманского и саамского, а в 1757 г. — румынского (Р. 90). Этот список интересен еще и тем, что в нем перечислены как будущие «победители», так и будущие «побежденные» в споре европейских языков за лидерство.

Многие местные языки (vernaculars) одержали победу над латынью ценой отказа от статуса местных языков, ценой создания «санкционированной» версии языка, далекой от реальной разговорной речи (Р. 90). Эти новые стандартные формы языка выражали ценности новых языковых сообществ — светских властных групп, которые дистанцировались не только от ученого мира латинской культуры, но и от народных, региональных и диалектных культурных форм (Р. 91).

Большую роль в стандартизации языков сыграло само распространение книгопечатания, однако эта связь не автоматическая. Стандартизация — сложный процесс, имеющий отношение как к более престижным, так и к более употребительным вариантам. Кроме того, процесс стандартизации языков старше, чем печатный пресс; да и книгопечатание — это обоюдоострое оружие, равно способное продвигать и распространять разные языковые стандарты. Так, в Германии печатные прессы появились одновременно во многих городах, что привело к появлению того, что современники описывали как «язык печатника» (printer's language) в Аугсбурге, Франкфурте, Лейпциге, Базеле и в других местах: во всех этих городах печатали по-немецки, но по-разному. То же происходило в Испании, Италии и других странах (Р. 92–93).

Стандартизация могла идти разными путями: где-то верх брал один из диалектов, где-то формировалось своего рода койне, в котором соединялись черты разных диалектов. Последний вариант победил в Германии, Швеции, Голландии и Финляндии. В Италии были аналогичные попытки, но получившийся вариант не смог конкурировать с тосканским (Р. 101). Что касается стандартизации переводов Библии, то тут тоже были

проблемы, связанные в первую очередь с диалектной раздробленностью, особенно на территории распространения германских диалектов: например, лютеровский перевод Библии был непонятен на севере Германии, и пришлось еще раз перевести его на нижненемецкий (Р. 103).

Стандартизация касалась и устной речи: похоже, пишет Бёрк, что одним из механизмов этого была практика чтения вслух. Поворотным моментом стала середина XVIII в., когда стали появляться многочисленные руководства по «правильному произношению». Между тем в некоторых частях Европы, в частности Нидерландах, германских государствах и России, этот процесс был заторможен использованием французского как языка высших социальных классов. Здесь умение «правильно» говорить на родном языке не играло той роли в отделении высших классов от простого народа, как во Франции, Италии или Англии (Р. 108). Постепенно появление и распространение стандартного, «правильного», «галантного» языка стало частью общего «цивилизационного процесса». Культура становилась все более важным статусным символом в эпоху, когда прежние социальные иерархии начали разрушаться, особенно в крупных городах: в анонимности большого города статус все более зависел не от происхождения, а от «культуры», которая включала, среди прочего, умение правильно говорить (как и умение правильно одеваться) (Р. 110).

Взаимное влияние и смешение языков Европы было обусловлено миграциями, постепенным упадком латыни как общего языка, вследствие чего европейцы вынуждены были учить языки друг друга, а также бурным ростом количества переводов (начиная с XVI в.). Смешение языков было непреднамеренным последствием этих процессов (Р. 113). Выходили сотни грамматик и словарей, целью которых было помочь выучить иностранный язык (при этом английский не относился к языкам, которые охотно учили в других странах: его время пришло позднее).

Существенную часть этой главы Питер Бёрк посвящает восприятию языкового смешения, отношению к нему. Большинство авторов описывало процесс довольно энергичными и часто уничижительными метафорами («нерадивый хозяин, берущий у соседей то, что есть в его собственном доме», «лоскутное одеяло», «обезьянничанье», «фрикасе из слов» и т.п.). Испанский, немецкий, английский и другие языки обвиняли в излишнем обильном заимствовании из латыни, арабского, иврита, французского, итальянского (Р. 120–121). Слова приходили не только из Европы, но и из других частей света, прежде всего через испанский и португальский и далее во французский,

английский, немецкий, русский. Питер Бёрк приводит примеры таких слов: русский читатель заметит прежде всего, что практически все эти слова, независимо от того, каков был их путь в Европу, в конце концов пришли в русский язык (*шоколад, авокадо, томат, ягуар, маниока, кондор, пума, хинин, ураган, тайфун, муссон, пагода, паланкин, крис, кафтан, шейх, султан, ага, дервиш, муэдзин*) (Р. 122–126).

Одним из инструментов языкового смешения в Европе этого времени была армия — интернациональная, разноязыкая, очень мобильная, отдельные отряды которой легко переходили от службы одному государству к службе другому. Это видно по огромному числу «интернациональных» военных терминов, источником которых стали французский, итальянский, немецкий, голландский (Р. 129–130). Другой причиной смешения была чистая прагматика: образованным людям не всегда хватало сложных или абстрактных понятий в родном языке, и они охотно и обильно брали эти слова там, где они были. Нам, привыкшим к высокой развитости абстрактной лексики в немецком, например, трудно поверить, что до начала XVIII в. немецкий был крайне беден на подобную лексику и писавшие по-немецки вынужденно использовали соответствующие латинские слова. Многие латинские слова вошли таким образом в местные языки и «натурализовались» там (Р. 131–133).

Ну и, наконец, еще одной причиной языкового смешения была языковая игра; так, макароническая латынь (местная лексика, положенная на латинский синтаксис) — изобретение XV в., скорее всего — полусуточный жаргон студентов падуанского университета. В эту игру играли многие писатели, поэты и драматурги позже, в XVI в. (Р. 133–138).

Питер Бёрк приводит примеры подсчетов заимствований, скрупулезно проделанных исследователями. С 1650 по 1715 гг. итальянский язык заимствовал у французского 661 слово (одежда, мебель, политика и дипломатия). Французский, в свою очередь, заимствовал между 1400 и 1800 гг. из других языков (кроме латыни) 1700 слов, из них 688 из итальянского, 242 из испанского. Как заметил один исследователь, такое количество заимствований «не вполне согласуется с распространенным мнением о существовании во Франции XVII в. языкового национализма» (Р. 138).

В главе о языковом пуризме автор выделяет три типа «чистоты» языка, к которым стремились авторы того времени: моральная чистота (неупотребление «грязных слов»), социальная чистота (неупотребление простонародных выражений) и этническая чистота (неупотребление иноязычных выражений там, где есть собственные) (Р. 141). Он ссылается на известные антрополо-

гические работы Мэри Дуглас о символической (не)чистоте и очищении как избавлении от опасности: она ничего не говорит о языках, но ее идеи исключительно важны для объяснения языкового пуризма и остроты некоторых реакций на то, что воспринималось как вторжение враждебных элементов в культуру (Р. 147).

Свои пуристы были во всех странах: они выступали против италянизации французского, офранцузивания голландского, латинизации немецкого... Английские пуристы заменяли слово *preface* «предисловие» на странно звучащее, зато собственное *forespeech*; переводчик Евангелия на английский писал *crossed* вместо *crucified* («распят») и *hundreder* («сотник») вместо *centurion* (Р. 148–150). Свои «мокроступы» были в каждой стране... Питер Бёрк приводит примеры пуризма в разных странах страница за страницей: Германия XVII-го в. и борьба с заимствованиями; голландский перевод Декарта и многочисленные неологизмы в нем; кампания за очищение датского языка в XVIII в.; шведские пуристы, английские, чешские... Сумароков в России осуждал заимствование иностранных слов, а Ломоносов задумывал работу о чистоте стиля. «Как могут заметить читатели “Войны и мира”, — не без ехидства замечает автор, — эти их рекомендации мало к чему привели» (Р. 154).

Было, впрочем, в Европе и антипуристское движение. Во Франции, Германии, Англии критика пуризма возникла преимущественно как реакция на выступления самих пуристов. Лейбниц критиковал «языковых пуритан» за их суеверный страх перед иностранными словами. В XVIII в. появился и сам термин «пурист» — с негативным оттенком (Р. 155). Однако общей тенденцией после 1500 г. было недоверие к иностранным заимствованиям: растущее число печатных текстов на местных языках делало «нечистоту» опаснее, чем прежде, так как эта зараза могла теперь быстрее распространяться. Кроме того, в более ранние эпохи эта идеология вряд ли могла появиться: «Сторонники чистоты языка отвергали формы, не отвечающие некоему стандарту, и таким образом предполагали, что такой стандарт уже существует. Отсутствие стандартных форм языка объясняет отсутствие движения за чистоту языка в средние века» (Р. 157).

Таким образом, заключает автор, эпоха Возрождения была, возможно, временем гетероглоссии, как пишет Вахтин, однако есть много свидетельств и языковой ксенофобии, хотя еще и не языкового национализма в современном смысле.

Наконец, в эпилоге, который назван «Языки и нации», речь идет о времени после Великой французской революции, когда

«европейские правительства стали все больше задумываться о повседневном языке простых людей» (Р. 160). Основная цель этого раздела книги — показать различия между идеологиями до и после 1789 г., т.е. до и после возникновения наций. Автор приводит два примера того, что могло бы считаться «сознательной языковой политикой» в XVII в. Это указ шведского короля 1678 г. о переводе церковной службы в только что присоединенных областях с датского на шведский и сознательное изменение французским правительством языка в Руссильоне (с каталанского на французский) и в Эльзасе (с немецкого на французский). Однако он настаивает, что эти редкие случаи «не примеры национализма в современном значении слова», и предпочитает (на мой взгляд, вполне обоснованно) считать их ситуациями, когда «целью правителей и их советников было сильное государство, а не единая нация» (Р. 163).

Во второй половине XVIII в. связь между языком и нацией становится все яснее. Мы находим все больше эксплицитных утверждений, что к известной триаде «один король, одна вера, один закон» пора добавлять четвертый элемент — «один язык». Знаменитым стало гердеровское определение нации как сообщества, скрепленного единым языком, особенно разговорным языком, как и его же утверждение, что великие нации правят не силой меча, а потому что говорят на более развитых и цивилизованных языках. Фихте пошел еще дальше в своем не менее известном высказывании: «Там, где существует отдельный язык, существует и отдельная нация, которая имеет право сама вести свои дела и сама собой править». Шлегель утверждал, что «нация, которая позволяет лишиться себя языка, перестает существовать». Автор приводит множество аналогичных высказываний и менее известных людей (Р. 164–166).

После 1789 г. наступает эпоха «воображаемых сообществ»: цитируя Бенедикта Андерсона, автор показывает, как распространение всеобщего начального образования в XIX в. способствовало распространению и укреплению национальных языков. Однако и здесь он предостерегает от «виговского взгляда на историю»: «то, что из центра выглядит унификацией, с периферии может показаться культурной оккупацией» (Р. 167), подавлением таких языков, как чешский, окситанский, фламандский или валлийский. И действительно, методы введения общенационального языка не отличались гуманностью. В Бретани, например, в XIX — начале XX в. школьников наказывали, если они не говорили на перемене по-французски (точно так же, как мальчиков предшествовавших веков наказывали в школе, если они позволяли себе говорить не по-латыни) (Р. 168). Взрослые всегда знают, как надо, а школьники всегда виноваты...

В XIX в. настала эра идеализации крестьянства и его языка как символа «корней» нации: лингвисты активно участвовали в «открытии народа» и народной культуры наряду с фольклористами и другими интеллектуалами. Писатели разных стран увлекаются «народным языком», начинают писать на диалектах. И Питер Бёрк, как и на протяжении всей книги, иллюстрирует это положение примерами из Пруссии, Финляндии, Норвегии, Греции, Болгарии, Германии, Англии... (Р. 169–172).

Мне хочется процитировать последнюю фразу книги: «Именно в это время, в XIX в., ученые и писатели обратились к писанию истории естественного, органичного развития своих национальных языков. Это именно тот вид национальной или даже националистической истории, который данная книга — вместе с другими исследованиями по социальной истории языка, подчеркивающими множественность сообществ и самоидентификаций, — пытается опровергнуть» (Р. 172).

Два замечания оценочного характера. Одно в поддержку исключительно плодотворного подхода автора к материалу, который ощущается на протяжении всей книги, но эксплицитно сформулирован лишь в конце: подхода, предполагающего осторожное отношение к жестким периодизациям и поворотным датам. «Как часто бывает в истории, — пишет Бёрк, — полезнее смотреть на изменения в относительных, а не в абсолютных терминах, говорить о большей или меньшей степени, а не о наличии или отсутствии. Культурные системы не меняются в несколько дней, ни даже в несколько лет. Изменения языковой системы, идея нации начинают быть заметны до Французской революции и продолжают оставаться очевидными еще долгое время после» (Р. 160).

Не знаю, в какой мере подобный взгляд распространен среди историков; мне он кажется достаточно свежим.

Второе соображение касается природы рассматриваемого материала и отчасти связано с первым. Питеру Бёрку приходится в этой книге иметь дело с очень сложным и в каком-то смысле единым процессом трансформации лингвистической ситуации в Европе, в котором нет не только жестких временных вех, но и отдельных составляющих, которые было бы легко выделить. Поэтому любое последовательное изложение материала, структурированное каким угодно образом, по необходимости оказывается не более чем аналитическим приемом. Действительно, сложно рассматривать утрату позиций латынью, не обра-

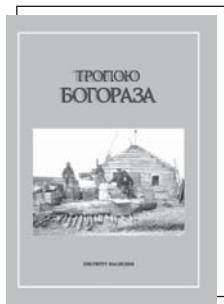
щаясь тут же к расширению функций местных языков, или описывать процессы стандартизации языков, не упоминая языковое смешение или идеи чистоты языка. Все описываемые идеи и факты на самом деле находятся в одних и тех же книгах одних и тех же авторов. То, что описывать процесс приходится последовательно, по темам, в разных главах, приводит к тому, что автор вынужден вновь и вновь обращаться к одним и тем же именам и событиям. Поэтому в книге поневоле много повторов, внутренних отсылок к более ранним или более поздним главам. Автор вынужден возвращаться к одним и тем же текстам.

Не могу предложить никакого более удачного решения; по-видимому, любая попытка изложить единый процесс как состоящий из отдельных составляющих его частей неизбежно приведет к повторам, независимо от того, какие именно дискретные части будут выделены. Социальным наукам еще предстоит изобрести свое интегральное исчисление.

Наконец, последнее. Больше всего при чтении книги поражает даже не эрудиция и начитанность автора и не широта охвата темы. Больше всего поражает современность процессов, о которых он пишет: оказывается, что новое — это действительно не более чем хорошо забытое старое. Если перевести многие цитируемые Питером Бёрком высказывания полемистов XVI, XVII, XVIII вв. с латыни или старофранцузского (старонемецкого, староанглийского и т.д.) на современные европейские языки, то они вполне могли бы звучать в сегодняшней полемике сторонников и противников языкового пуризма, сторонников и противников прав языковых меньшинств, лингвистических и прочих националистов всех стран и оттенков.

И вот вопрос, который здесь невольно возникает: то ли мы с середины XV в. (а то и раньше) и до начала XXI в. упорно и безнадежно толчем в ступе одну и ту же воду, то ли действительно культурная история, сделав один полный оборот, привела нас в ту же точку, в которой мы уже однажды были.

Николай Вахтин



Тропою Богораза. Научные и литературные материалы /
Сост. и ред. Л.С. Богословская, В.С. Кривошеков,
И.И. Крупник. М.: Институт наследия-ГЕОС, 2008.
352 с., 2 вклейки, 88 вкладок; илл. (Труды ЧФ СВКНИИ
ДВО РАН, вып. 10)

Сборник посвящен памяти одного из зачинателей советского североведения — Владимира Германовича Богораза, человека-легенды, одинаково хорошо писавшего как научные статьи и монографии, так и популярные рассказы и повести о жизни на Севере. Кроме того, он фотографировал, собирал этнографические коллекции, которые сейчас хранятся в музейных собраниях России и Америки, преподавал в Ленинградском университете, работал в Комитете Севера.

Таким образом, Богораз проторил не одну прямую широкую дорогу, а множество троп и тропинок. И, словно следуя за ним, составители собрали в сборнике очень разнородные статьи и материалы. Что же объединяет их авторов, среди которых есть и профессиональные ученые, и краеведы (учителя, музейщики, оленеводы, охотники, бывшие партийные работники)? Конечно же, это Чукотка.

Составители объединили в сборнике научные и литературные материалы, и именно это придает ему особый, я бы даже сказала, исключительный интерес. Он предельно насыщен информацией самого разного свойства. Где еще можно встретить под одной обложкой исторические свидетельства о периоде коллективизации, оставленные в воспоминаниях, с одной стороны, чукчей (собранных чукотскими же учеными и краеведами В.Н. Нувано и З.Г. Омрытхэут),

а с другой — тех людей, которые принимали самое непосредственное участие в социалистическом строительстве на Чукотке (воспоминания участника коллективизации оленеводов Чукотки Б.Н. Андропова).

Соединение разнородных жанров (научного, литературного, краеведческого, со своими стилями и языком) обусловило необычность книги, гарантировало ее востребованность, а обилие редких и ценных фотографий придало ей замечательный колорит. Этот сборник, образно говоря, большой сундук с добром, которое нужно пересматривать, перещупывать, перетряхивать, примеривать, выбирая то, что тебе нужно и подойдет. Главное — есть что просматривать и есть из чего выбирать!

В сборнике преобладают статьи, которые пережили свое второе рождение. Сначала они появлялись в малотиражных научных изданиях, в провинциальных газетах и журналах, на интернет-сайтах, но были доступны немногим, быстро и прочно забывались.

Книга состоит из пяти частей. Первая посвящена истории изучения Чукотки, исследователям полуострова в восприятии ученых и местных жителей. Здесь опубликованы воспоминания эскимосов о В.Г. Богоразе и Е.С. Рубцовой, статья И.И. Крупника и Е.А. Михайловой об эскимологе А.С. Форштейне, автобиография известного советского этнографа и лингвиста, специалиста по народам Северо-Востока России И.С. Вдовина. Раздел заканчивается богатой подборкой фотографий, сделанных Богоразом на Чукотке в Джезуповской экспедиции (из архива музея естественной истории в Нью-Йорке) и Форштейном в 1928–1929 гг. (из собрания МАЭ).

Вторая часть («Жизнь народов Чукотки в XX–XXI вв. Оленеводы») включила интересные и неоднородные материалы: беллетристику В.Г. Богоразы, статью В.В. Леонтьева о кереках, статьи В.Н. Задорина, И.А. Радова, В.Н. Нувано о различных группах чукчей. Статьи и заметки разных авторов по истории советизации Чукотки интересны, содержат много нового фактического материала, и их вполне можно было бы выделить в самостоятельный раздел или подраздел.

В третьей части («Жизнь народов Чукотки в XX–XXI вв. Морские охотники») представлены рассказы эскимосов и чукчей, записанные учеными и местными краеведами; опубликованы статьи В.Г. Леонтьева, В.Г. Богоразы, Л.С. Богословской, И.И. Крупника, А.И. Козлова, посвященные традиционному морскому промыслу азиатских эскимосов и приморских чукчей, традиционной системе питания.

Четвертая часть («Традиционные культуры и языки народов Чукотки») состоит из переизданных статей маститых ученых (прежде всего В.Г. Богораза и работавших на полуострове на протяжении начала — второй половины XX в. этнографов и языковедов И.С. Вдовина, Е.С. Рубцовой, Л.С. Богословской, И.И. Крупника, А.А. Бурькина), а также небольших, но ценных, полученных, что называется, из первых рук статей и материалов, написанных самими чукчами — представителями традиционной культуры и современной чукотской интеллигенции (А.И. Вальгиргин, В.Н. Нувано, Г.И. Ранаврольтына, Н.И. Вуквукай).

Особо хотелось бы отметить очерк писателя и журналиста С.С. Гагарина «К вопросу об обычае “добровольной смерти”», написанный в 1960-х гг. и по цензурным соображениям не опубликованный. Наибольший интерес в нем представляют извлеченные из труднодоступных судебных архивов тех лет описания этого обычая у чукчей.

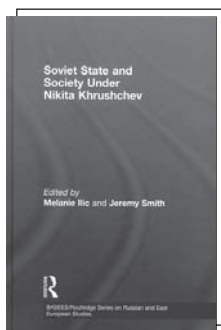
Пятая часть — «Архивы Чукотки». Здесь вниманию читателя предлагаются содержательная статья В.Т. Переладова «Открытие первой промышленной россыпи золота на Чукотке» и интереснейший и подробный отчет А.И. Калтана по обследованию Чукотского полуострова в 1930–1931 гг., в преддверии коллективизации, когда система расселения чукчей, их образ жизни еще сохранялись в полном объеме.

Я уже говорила о том, что особый колорит придают сборнику фотографии. Ими снабжены все разделы, кроме последнего. Фотография, чудесным образом позволяя заглянуть в ушедшее время, глубоко содержательна и объемна, поскольку способна породить воспоминания, ассоциации, оживить личную и историческую память. Пока фотографии находятся в семейном альбоме, они ведут себя скромно и тихо. Но только до тех пор, пока не попадут в подходящий контекст. В книге представлено 138 редких фотографий из музеев, личных и семейных архивов, которые дают визуальный ряд природы, людей, их повседневной и ритуальной жизни на протяжении последнего столетия. Это срез культуры народов Чукотки. Содержательные комментарии, сделанные редакторами сборника, существенно увеличивают их научную и историко-культурную значимость.

Итак, в сборнике «Тропою Богораза» содержится значительный объем ценнейшего культурно-исторического наследия Чукотки. Мелкие недоделки, неточности, недоработки, которых, к сожалению, не удалось избежать при составлении книги, не могут испортить общего положительного впечатления от знакомства с ней. Понятно, что ее редактировали и составляли люди, любящие Чукотку, идущие «тропой Богораза». Конечно

же, книга будет постоянно востребована и на Чукотке, и в других уголках России и мира, где интересуются историей и культурой этого региона.

Анна Сирина



Melanie Ilic, Jeremy Smith (eds.). *Soviet State and Society Under Nikita Khrushchev.* L.; N.Y.: Routledge, 2009. 216 p.

Подобно сталинизму, оказавшемуся предметом наиболее инновационной историографии, посвященной советской эпохе, в конце 1990-х и в начале 2000-х гг.¹, период «оттепели», чей облик формируется под влиянием реформаторской политики Никиты Сергеевича Хрущева между 1956 и 1964 гг., лишь недавно стал объектом приложения западными историками новых теорий и новаторских подходов к темам, которые в прежнее время оставались вне исторического анализа.

Две книги, написанные историками, работающими в британских университетах, могут служить примером этой тенденции. В сборнике, вышедшем под редакцией Мелани Илич, Сюзан Рейд и Линн Атвуд и посвященном женщинам в хрущевскую эпоху, собраны статьи обо всех аспектах жизни женщин, их восприятию окружающей реальности, а также культурном продуцировании смыслов, которые должны

Катарина Уль (Katharina Uhl)
Оксфордский университет,
Великобритания
katharina.uhl@sant.ox.ac.uk

¹ См., например: [Kotkin 1995], а также [Fitzpatrick 2000].

были стать определенными способами восприятия. Спектр затронутых тем широк; он включает работу и дом, религию и полеты в космос, то, как женщины осмысливают самих себя в дневниках, а также конструирование женственности в кино [Iltz, Reid, Attwood 2004].

Сборник “The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era”, вышедший под редакцией Полли Джонс [Jones 2006], представляет столь же широкий круг подходов к социальной и культурной жизни периода «оттепели» с анализом «обращения со сталинистским наследием, доставшимся преемникам Сталина» [Jones 2006: 1]. В статьях показано, что десталинизация общества и культуры не началась сразу вслед за хрущевским разоблачением «культы личности», на первом этапе она жестко отвергалась обществом, поскольку люди оказались не в состоянии мыслить вне сталинских параметров восприятия реальности. Авторы статей учитывают широкий круг источников, от архивных материалов и писем в редакцию до образцов беллетристики и поэзии, а также историографических работ. Глобальный вывод заключается в том, что хрущевский период стоит рассматривать не только как время либерализации и потепления культурной атмосферы, но скорее как замену открытого террора более тонкими инструментами социальной и моральной инженерии, что является наиболее существенным для эпохи хрущевских реформ.

Эта тема развивается Клаусом Гествой, профессором восточно-европейской истории Тюбингенского университета (Германия), и Сюзан Рейд, профессором, специализирующимся в области визуальной русской культуры в Шеффилдском университете (Великобритания). Работы Гествы фокусируются на топосе формовки человека, который господствовал в сознании как сталинского, так и постсталинского руководства. Заметное в идее «великих строек» начиная с 1948 г., это представление подпитывало мощное стремление коммунистических лидеров переделывать сознание и душу советского народа [Gestwa 2010; 2009a]. Сюзан Рейд исследует масштабы влияния, которое оказывало партийное государство на человека через тонкие дискурсивные и визуальные стратегии, а также то, как восприятие человеком реальности формировалось, например, директивами и дискурсами о внутреннем мире, оказывавшими воздействие на частную сферу в советском контексте [Reid 2006a; 2005; 2006b].

Другой темой, которой занимаются оба ученых, а также другие историки, изучающие «оттепель», является значение холодной войны, как для руководства, так и для «обычных людей». Ис-

следователи фокусируются в данном случае на тех полях сражений, которые обычно не затрагивает традиционная историография. Вместо анализа гонки вооружений недавние исследования холодной войны посвящены символическому значению космических полетов, контактов между Востоком и Западом, конфликта систем для повседневной жизни — например, когда западная жизнь оказывается фоном восприятия советской повседневности [Reid 2002; Gestwa 2009b; Richmond 2003; Gorsuch 2006].

С учетом этого историографического фона изучение взаимоотношений государства и общества может показаться анахронизмом. Тем не менее Мелани Илич констатирует во введении к *“Soviet State and Society Under Nikita Khrushchev”*, что задачей книги является исследование «взаимоотношений между советским государством и обществом, между КПСС и правительством на центральном, региональном и местном уровнях, с одной стороны, и обычными советскими людьми, с другой» в период правления Хрущева, т.е. между 1953 и 1964 гг.

Главы посвящены в основном частным случаям, конкретным воплощениям данной проблемы (Р. 1). Этот традиционный подход кажется несколько неуклюжим, особенно с учетом состояния меняющегося академического мира (десятилетиями со стороны культурной истории пытались вычленить влияние культуры, дискурса, типов восприятия на якобы объективные структуры общества). Однако некоторые идеи, предложенные в недавних исторических исследованиях, а также в области культурной истории, в книге учитываются, когда редактор ставит вопрос об «оттепельном» обществе как об «обществе надзора» (Р. 3), которое возникло благодаря набиравшей силу социальной и моральной инженерии, порожденной новым идеологическим взглядом. Учитываются они и тогда, когда речь заходит о значении основных черт этого периода, десталинизации и обновлении идеологического импульса с момента XX-го съезда для повседневной жизни граждан, для «восприятия гражданами советского государства», а также того, «как люди начинают конструировать свои взаимоотношения друг с другом» (Р. 1).

Интересно, что вместо обращения к более или менее инновационным типам анализа, предложенным новой историографией, в некоторых статьях применяются традиционные подходы. И это несмотря на то, что их авторами являются по большей части молодые историки и аспиранты, а кроме того, сборник охватывает широкий круг тем, связанных с основными предметами исследований новейшей историографии «оттепельного» периода (третья партийная программа и ее идеологическая

повестка дня, различные социальные группы, такие как молодежь, женщины и рабочие, а также политическое инакомыслие и социальные волнения). Между тем методологически подходы, принятые в других статьях, оказываются многообразными, инспирированными новыми исследованиями, причем некоторые из них идут дальше того, что заявлено во введении.

Проблематический аспект введения, а также книги в целом можно видеть в некоторой нечеткости терминологии (касающейся таких терминов, как «общество» и «государство»), а также различий между правительственными органами и общественными организациями. Не вполне ясно, какую концепцию общества, как полагает Илич, используют авторы. Или это советское определение (общество и государство объединены для выражения воли партии, это система, которая направляется партией, выражающей волю народа — «общества» — и осуществляет власть через особую систему «ременной передачи» или «рычагов» (правительственные органы, добровольные общественные организации) [Meissner 1982: 39–40; Meissner 1966: 143–145; Вейрау 2003; Hough, Fainsod 1979]). Или это классическая западная либеральная идея общества как чего-то противопоставленного государству и заслуживающего защиты от его власти. В недавних исследованиях сталинизма и взаимоотношений между публичной и приватной сферами показано, что подобные различия не работают в советском контексте¹. Между тем в исследованиях, представленных в сборнике, разрыв между государством и обществом принимается в качестве само собой разумеющегося. Авторы исследуют партиципационный характер советского государства, анализируя воздействие массовых организаций на государственные дела, а также влияние, которое государство оказывало на общество через идеологический дискурс или добровольные группы и организации.

Таким образом, авторы книги концентрируются на взаимоотношениях государства и общества, а также на участии общества в делах государства. Общей темой сборника является влияние, которое оказывали различные группы по интересам на принятие решений. В статье о поведении офицеров Советской Армии во время общественных волнений в Новочеркасске в 1962 г. Джошуа К. Анди пишет, что результатом недавно приобретенного «профессионализма» (Р. 181) среди командования Советской Армии стало неповиновение партийным приказам во время кризиса. Командующий состав отказался вести войска против восставших рабочих.

¹ См., например: [Kotkin 1995; Siegelbaum 2006].

Сходное явление отмечено Лораном Кумелем в его статье об общественной дискуссии по поводу реформы образования (1958 г.). Автор полагает, что некоторые сегменты общества, главным образом ученые и педагоги, попытались сформировать «группу по интересам» (Р. 73), которая оказалась в состоянии выразить точку зрения, значительно отличавшуюся от позиции Хрущева. Результатом этого процесса, в конце концов, стало «возникновение плюрализма, не совпадавшего с пониманием руководством “общественного мнения”» (Р. 82). Влияние этого плюрализма можно увидеть в том факте, что «стремление Хрущева мобилизовать общественное мнение через “общую дискуссию” обернулось против него» (Р. 82).

Хелен Карлбек исследует влияние, которое имела общественная дискуссия о правовом статусе незамужних матерей и детей без отцов на действительное положение людей, делая при этом вывод о «сомнительности того, оказывало ли это [данная дискуссия] реальное влияние на мышление в более широком смысле» (Р. 100).

Другими организациями, ставшими объектом исследования в сборнике, являются женсоветы (статья Мелани Илич) и профсоюзы (статья Джанбе Джо). Обе эти организации служили форумом, где граждане могли выражать свои взгляды или подавать жалобы в связи с определенными проблемами. Эти организации обладали известным влиянием на индивидуальном и местном уровнях, но не на принятие более масштабных решений.

Вопрос о совместном влиянии не нов: Джерри Хоу уже в 1970-х гг. считал его «решающим» [Hough, Fainsod 1979: 314]. Между тем статьи сборника дают интересную картину многообразных путей, благодаря которым конкретный советский гражданин мог попытаться превратить в реальность свои соображения, касающиеся государства и общества. Некоторые из статей являются первыми исследованиями тех или иных организаций и дискуссий, оказываясь, таким образом, важным эмпирическим вкладом в изучение периода «оттепели».

Авторы подчеркивают двойственность «оттепельной» эпохи, указывая на растущие возможности конкретного человека повлиять на положение дел в своем окружении и в то же самое время показывая все большее число тонких прикладных стратегий влияния на конкретного советского гражданина и общество в целом через дискурс и социальный контроль. Это двойственное пространство открыло возможность для выражения протеста и неудовлетворенности — процесс, конкретные проявления которого убедительно продемонстрированы в статьях. Посвященные participatory характеру советского

государства, они охватывают обширный материал, очерчивая напряжение между либерализацией и социальным контролем, которое было присуще эпохе Хрущева.

Авторы стремятся исследовать и соотносить концепты десталинизации и возрождения идеологического проекта, что было инициировано на XX-м съезде. На основе жилищной программы 1950-х гг. Марк Б. Смит демонстрирует, что десталинизирующее представление о законности и рациональности было риторически связано с идеологической программой коммунистического будущего и что общими основаниями этих трех тем было возрождение «ленинских принципов». Джулия Элкнер описывает попытки органов госбезопасности сделать более привлекательным свой образ, который был сильно подпорчен сталинскими чистками. Она показывает, что КГБ активно соотносил свою легитимацию с ленинским прошлым — в немалой степени через возрождение культа Дзержинского — и таким образом с актуальной идеологической повесткой дня.

Другой идеологической тенденцией хрущевского общества, порожденной одновременно десталинизацией и попыткой заново запустить идеологический проект, являлось политическое инакомыслие. Как показано в главе, написанной Робертом Хорнсби, появившиеся инакомыслящие, которые первоначально поддерживали реформы Хрущева и были впечатлены коммунистическим проектом, вскоре были разочарованы результатом и обратили свой гнев против Первого секретаря ЦК КПСС. Александр Титов целиком посвящает свою главу новой партийной программе 1961-го г., которая официально обещала коммунистическое будущее. Он описывает контекст, в котором она появилась, а также то, как она была встречена обществом. Его реакцию исследователь оценивает как по большей части позитивную до того момента, пока не стало очевидным, что руководство не в состоянии выполнить свои обещания. Выступая в качестве «официального эталона, на фоне которого можно было оценивать советскую реальность» (Р. 21), программа отчетливо демонстрировала «разрыв между официальной риторикой и все более мрачной реальностью жизни в Советском Союзе» (Р. 21).

Главы, посвященные идеологическому измерению хрущевского периода, дают хорошее представление об этой переоценке идеологического импульса, не способствуя подлинно новому пониманию его значимости для повседневной жизни. Таким образом, находки авторов сборника, не будучи инновационными, в общем соотносимы с исследованиями прошлых лет, однако при этом необходимо принимать во внимание введение в данном случае дополнительного материала, а также более

широкий круг затронутых в книге сфер, где в этот период действовал идеологический импульс¹. Тем не менее авторы сборника вносят существенный вклад в историографию, отвечая на призыв историков, занимающихся сталинизмом и подчеркивающих значимость идеологии и языка для концепции «советского субъекта», таким образом говоря о необходимости инновационного подхода в историографии к Советскому Союзу вообще². Демонстрируя тесную соотнесенность между этой переоценкой идеологии и десталинизацией, авторы предлагают новый взгляд на изучаемую эпоху, а их статьи представляют собой ценный вклад в науку.

Одной из оставляющих этого идеологического импульса был упор на то, что получило название «мирного сосуществования». Так, последней темой, представленной в ряде глав книги, оказывается растущая важность международного контекста, в котором вынужден был позиционировать себя Советский Союз. Грандиозной попыткой исправить образ страны за рубежом стал Международный фестиваль молодежи и студентов (1957 г.). В главе, которая стоит несколько в стороне от основных тем сборника, Пиа Койвунен показывает, что фестиваль являлся средством улучшить имидж страны, а также проверкой способности Советского Союза принимать туристов. Фестиваль продемонстрировал — благодаря той открытости, с которой советские граждане могли встречаться с иностранцами — воздействие десталинизации на общество, однако он позволил установить и новые границы открытости. Он показал и живучесть сталинского наследия — глубоко укорененную ксенофобию советского населения.

Судя по заглавию, а также по введению, сборник “Soviet State and Society Under Nikita Khrushchev” следует совершенно устаревшему подходу к эпохе «оттепели» и посвящен хорошо известным темам и проблемам. Однако если присмотреться, оказывается, что книга охватывает более широкий круг тем и подходов. Большинство статей отчетливо демонстрирует двусмысленность «оттепельной» эпохи, включавшей как либерализацию, так и жесткий социальный контроль. Большое внимание уделено в книге воздействию десталинизации: авторы некоторых глав указывают на своего рода переговорные процессы по поводу границ приемлемого, которые имели место после разоблачения сталинских преступлений. Указывая на соотнесенность десталинизации и попытки запуска нового идеологического проекта, некоторые авторы обращаются

¹ Другими исследованиями влияния на идеологию в эпоху оттепели являются, например: [Beugnot 1993; Fürst 2006; Field 2007].

² См., например: [Fitzpatrick 2008; Halfin, Hellbeck 1996].

к недавним исследованиям советского периода, чтобы учесть идеологическое измерение этих процессов и воздать должное их колоссальной значимости для восприятия людьми реальности.

Книга представляет собой солидное, хотя и не вполне инновационное исследование основных тем историографии хрущевского периода, подводя итог недавним исследованиям, а также заполняя такие историографические лакуны, как организационная история КГБ или профсоюзов. Можно сказать, что книга окажется хорошим стартом для новых исследований важных тем и проблем.

Библиография

- Beyrau D.* Intelligenz und Dissens: Die russischen Bildungsschichten in der Sowjetunion 1917 bis 1985. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993.
- Beyrau D.* Das bolschewistische Projekt als Entwurf und soziale Praxis // W. Hardtwig (ed.). Utopie und politische Herrschaft im Europa der Zwischenkriegszeit. München: Oldenbourg, 2003. S. 13–39.
- Field D.* Private Life and Communist Morality in Khrushchev's Russia. N.Y.: Lang, 2007.
- Fitzpatrick Sh.* (ed.). Stalinism. New Directions. L.: Routledge, 2000.
- Fitzpatrick Sh.* Revisionism in Retrospect: A Personal View // *Slavic Review*. 2008. Vol. 67. P. 682–704.
- Fürst J.* Friends in Private, Friends in Public. The Phenomenon of the *Kompania* among Soviet Youth in the 1950s and 1960s // L.H. Siegelbaum (ed.). Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. P. 229–249.
- Gestwa K.* Die Stalinschen Großbauten des Kommunismus: Technik- und Umweltgeschichte der Sowjetunion, 1948–1967. München: Oldenbourg, 2010.
- Gestwa K.* Social and Soul Engineering unter Stalin und Chruschtschow, 1928–1964 // Th. Etzemüller (ed.). Die Ordnung der Moderne. Social Engineering im 20. Jahrhundert. Bielefeld: Transcript-Verlag, 2009a. S. 241–277.
- Gestwa K.* 'Kolumbus des Kosmos'. Der Kult um Jurij Gagarin // *Osteuropa*. 2009b. 59. S. 121–152.
- Gorsuch A.E.* (ed.). *Turizm: The Russian and East European Tourist under Capitalism and Socialism*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006.
- Halfin I., Hellbeck J.* Rethinking the Stalinist Subject: Stephen Kotkin's "Magnetic Mountain" and the State of Soviet Historical Studies // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1996. Bd. 44. S. 456–463.
- Hough J., Fainsod M.* *How the Soviet Union Is Governed*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979. P. 277–319.

- Ilic M., Reid S., Attwood L.* (eds.). *Women in the Khrushchev Era*. L.: Palgrave Macmillan, 2004.
- Jones P.* (ed.). *The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era*. L.: Routledge, 2006.
- Kotkin S.* *Magnetic Mountain. Stalinism as Civilization*. Berkeley: University of California Press, 1995.
- Meissner B.* *Verhältnis von Partei und Staat*. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1982.
- Meissner B.* *Wandlungen im Herrschaftssystem und Verfassungsrecht der Sowjetunion* // E. Böttcher (ed.). *Bilanz der Ära Chruschtschow*. Stuttgart : Kohlhammer, 1966. S. 141–171.
- Reid S.E.* *Cold War in the Kitchen: Gender and the De-Stalinization of Consumer Taste in the Soviet Union under Khrushchev* // *Slavic Review*. 2002. Vol. 61. P. 211–252.
- Reid S.E.* *The Khrushchev Kitchen: Domesticating the Scientific-Technological Revolution* // *Journal of Contemporary History*. 2005. Vol. 40. P. 289–316.
- Reid S.E.* *Khrushchev Modern: Agency and Modernization in the Soviet Home* // *Cahier du monde russe*. 2006a. T. 47. P. 227–268.
- Reid S.E.* *The Meaning of Home. The Only Bit of the World You Can Have to Yourself* // L.H. Siegelbaum (ed.). *Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia*. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2006b. P. 145–170.
- Richmond Y.* *Cultural Exchange and the Cold War: Raising the Iron Curtain*. University Park: Pennsylvania State University Press, 2003.
- Siegelbaum L.H.* (ed.) *Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Катарина Уль

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума



Штетл. XXI век. Полевые исследования /
Сост. В.А. Дымшиц, А.Л. Львов, А.В. Соколова. СПб.:
Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге, 2008. 292 с.
(Studia Ethnologica. Вып. 5)

Рецензируемая книга посвящена интереснейшему феномену: *штетлу*, или *еврейскому местечку*. Причем именно явлению культуры — культуры евреев Восточной Европы (восточных ашкеназов), а не истории конкретных населенных пунктов на географической карте. Это одна из немногих работ такого рода, появившихся за последние почти 100 лет. Более того, после Второй мировой войны и Холокоста, в котором была практически уничтожена культура штетла (вместе с подавляющим большинством ее носителей), *исследований* на эту тему было крайне мало. Изучению штетла препятствовало почти полное исчезновение не только объекта исследования, но и «субъекта», т.е. исследователей и научной школы (или школ).

О начале изучения традиционной этнографии и фольклора евреев Восточной Европы (а рецензируемая книга вышла в серии “Studia ethnologica”) в конце XIX — начале XX в. в Российской империи, его постепенном «сворачивании» в СССР в 1930-е гг., а потом и почти полном прекращении «еврейских штудий» писали неоднократно. Вот лишь несколько примеров таких публикаций на русском языке: [Лукин 1993; Ганелин, Кельнер 1994; Носенко 2007; Носенко-Штейн 2009].

Этой проблеме в значительной степени посвящено и написанное А. Львовым предисловие к рецензируемой книге. Ее исследо-

вания возобновились в 1990-е гг., после почти столетнего перерыва со времени знаменитых экспедиций С. Ан-ского 1912–1914 гг. в местечки, находившиеся в черте еврейской оседлости. Именно тогда были проведены экспедиции «по следам Ан-ского», и не только по его следам. Инициаторами их стали ученые из Санкт-Петербурга (который и поныне остается самым значительным центром таких исследований на территории России). Им удалось выпустить по результатам своих экспедиций ряд трудов [100 еврейских местечек 1997; 100 еврейских местечек 2000].

Продолжением полевых исследований на качественно ином уровне стали организация и проведение начиная с 2004 г. летних студенческих полевых школ. Это совместный проект Межфакультетского центра «Петербургская иудаика» Европейского университета в Санкт-Петербурге и Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» (Москва). Участники таких «школ на колесах» — как студенты, так и преподаватели — получили уникальную возможность сочетать занятия с поездками по бывшим еврейским местечкам Украины и участвовать в сборе нового полевого материала. Рецензируемая книга — в значительной мере результат всех этих усилий.

Парадокс состоит в том, что она посвящена тому, чего, как казалось многим, уже не существует: уничтожено, погибло, безвозвратно ушло в прошлое. Однако работы, вошедшие в книгу, доказывают, что это не так.

На страницах одной рецензии нет возможности дать полноценный анализ всех статей, вошедших в сборник (тем более что некоторые из них заслуживают отдельного обсуждения). Поэтому я попытаюсь дать общую оценку всей работы, а также тех статей, которые показались мне наиболее интересными.

Структура книги представляется мне удачной и вполне логичной. Это концептуальное предисловие (С. 9–26); раздел «Исследования», в который вошло семь статей, посвященных разным аспектам жизни и повседневной культуры штетла; раздел «Материалы по этнографии и фольклору евреев Подолии», где в трех небольших статьях представлены результаты конкретных полевых изысканий. Завершают сборник список цитируемых интервью, список информантов, а также Acknowledgment и Summaries.

Хотелось бы сказать чуть подробнее об уже упомянутом предисловии «Штетл в XXI в. и этнография постсоветского еврейства». Кроме содержательного обзора проводившихся в разное время и в разных странах работ в области традиционной этнографии и фольклора восточно-европейского еврейства, в нем

сделана удачная попытка проследить своеобразную трансформацию «образа штетла» в умах исследователей. Помимо этого А. Львов стремится дать ответ на вопрос, почему в наше время так активно изучают штетлы — традиционные еврейские локальные сообщества. Ответ, по мнению автора, состоит не только в том, что эти сообщества «в силу непрерывности своей локальной истории могут рассматриваться (и, что важнее, рассматривают себя) как прямые наследники классического штетла XIX в.» (С. 11). А. Львов оговаривается, что такая постановка проблемы спорна. Она во многом связана с маргинальным положением антропологии в иудаике. И тут же мы видим полемику с рядом исследователей (среди них А. Штерншис [Shternshis 2006]), которые полагают, что в результате антирелигиозных кампаний и Холокоста в СССР уцелела только городская еврейская культура и идентичность (С. 18). А. Львов стремится доказать, что штетл живет и функционирует и в наши дни — и это другая часть ответа на заданный вопрос.

Собственно, вся рецензируемая книга: статьи, заметки и полевые материалы — своеобразное подтверждение тезиса о *реальности существования штетла* в наши дни.

Одной из наиболее интересных и содержательных мне показалась статья А. Соколовой («Еврейские местечки памяти: локализация штетла», с. 29–64). В самом названии явно слышится «переключка» со знаменитыми «местами памяти» Пьера Нора, и исследовательница показывает, что штетл выполняет эту функцию — быть местами коллективной еврейской памяти — и в наши дни. Причем память «живет» не только в синагогах или на кладбищах (а также как память о синагогах или кладбищах), но и в обычных постройках (а также как память о них). Опираясь на богатый полевой материал, собранный ею в течение многих лет, А. Соколова стремится выделить структуру штетла, характерные признаки «еврейских домов» и их последующую «экзотизацию»: мифологизацию «секретов еврейского домостроительства» в сознании информантов — не евреев (С. 60–62).

Вообще работы А. Соколовой (одни из очень немногих в нашей стране) посвящены именно материальной культуре евреев. Подобные исследования в иудаике находятся несколько на втором плане, отступая перед изучением «высокой культуры» и даже перед исследованиями еврейского фольклора. Кроме того, эта статья — пример не просто хорошо сделанного полевого исследования, но и удачная попытка подняться над чисто эмпирическим материалом на качественно новый уровень: обобщений и выводов.

Если посмотреть на содержание книги внимательно, то мы увидим в ней своего рода «исследовательские циклы», типичные для традиционной этнографии (хотя статьи и сообщения не располагаются последовательно в рамках таких циклов). Это работы, касающиеся жизненного цикла: рождение ребенка (С. Амосова, С. Николаева «Человек родился: заметки о еврейском родильном обряде», с. 83–98); свадьба (В. Федченко, А. Львов «Сватовство, помолвка, свадьба», с. 226–260); погребение (В. Дымшиц «Еврейское кладбище: место, куда не ходят», с. 135–158). Мы находим в сборнике интересные материалы и по еврейскому фольклору (М. Каспина «Представления о дурном глазе», с. 219–225; Д. Гидон, В. Федченко «Песни на идише», с. 261–278).

К ним примыкает — дополняя, но и стоя особняком как исследование именно *еврейской городской культуры* — «Словарь локального текста как метод описания городской культурной традиции (на примере Могилева-Подольского)» под ред. М. Лурье (С. 186–215). Это одна из относительно немногих попыток «перебросить мостик» из прошлого в настоящее, опираясь на современные тексты.

В этом же ряду стоят статьи М. Хаккарайнен «Местечко вспоминает о прошлом: рассказы о еврейских ремесленниках и ремеслах» (С. 159–176) и С. Изард «Экономика еврейской свадьбы в Могилеве-Подольском Советского периода» (С. 177–185). Исследователи не просто собрали новый и интересный полевой материал, но и показали, как традиционные сюжеты функционируют в современном контексте.

Мое внимание также привлекла статья А. Кушковой «Понятие “ихес” и его трансформации в советское время» (С. 99–134). Автор анализирует важное для традиционной еврейской культуры понятие — «ихес». Такое его содержание, как «знатное происхождение», не могло не претерпеть существенных изменений в советское время. По мнению А. Кушковой, именно тогда оно постепенно приобрело значение «происхождения из “приличной семьи”». Кроме того, такой статус предполагал наличие хорошего образования, причем светского. «Приличная семья» и «хорошее образование» в советскую и постсоветскую эпоху, безусловно, возобладали и превалируют в еврейской идентичности и самоидентификации над «благородством происхождения» в его традиционном значении (С. 130–132).

На мой взгляд, эта работа — одна из наиболее удачных в сборнике, не только по богатству содержащегося в ней материала, к тому же хорошо систематизированного (одно разнообразие типов и видов «ихеса», перечисленных исследовательницей,

впечатляет), но и по серьезности осмысления этого культурного понятия.

Не могу не сказать и о статье А. Львова, посвященной одному из аспектов сложных и нередко крайне болезненных межэтнических и межконфессиональных отношений между евреями и не евреями («Межэтнические отношения: угощения мацей и “кровавый навет”», с. 65–82). В статье не просто представлен богатый и интересный полевой материал; автор показывает, как печально знаменитый «кровавый навет», пережив века, трансформируется и функционирует в наше время. Более того, угощения мацей, по мысли А. Львова, — это своеобразный индикатор межэтнических отношений. Для евреев это своего рода «проверка на прочность» — даже провокативная — отношения к ним соседей. Для не евреев подобная «провокация» становится основой для поддержания слухов о добавлении крови в мацу (С. 81), т.е. для закрепления давнего негативного стереотипа.

Повторяю, многие статьи заслуживают специального анализа. Поэтому, завершая рецензию, я могу сказать, что книга «Штетл. XXI век. Полевые исследования» является уникальной и удачной попыткой не просто исследования традиционных этнографических и фольклорных еврейских сюжетов. Она создает именно *образ* штетла, причем живого и живущего в наше время. Я не разделяю взглядов скептиков, полагающих, что подобного рода исследования «скребут по доньшку», изучая «остатки» некогда богатейшей культуры. Во-первых, изучение даже остаточных элементов традиционной культуры — одна из задач этнографии, стремящейся зафиксировать, описать и сохранить те или иные явления и процессы, т.е. сделать их достоянием исторической памяти. Во-вторых — и это в данном случае очень важно — в книге отчетливо прослеживается «связь времен»: многие явления исследуются в их современном состоянии.

Мне как исследователю, чьи интересы больше сосредоточены на проблемах дня сегодняшнего, пожалуй, не хватает исследований именно механизма трансмиссии культурной информации от поколения к поколению. Большинство информантов, опрошенных авторами книги, — пожилые люди. Поэтому остается только гадать, осуществляется ли такая трансмиссия и насколько она интенсивна. Проживают ли в современных штетлах молодые люди еврейского происхождения, и если да, то передаются ли им остаточные элементы традиционной культуры? Иными словами, сохраняется ли культура штетла в коллективной памяти российских евреев в наши дни? Или это только *образ* штетла, созданный усилиями талантливых уче-

ных? Можно, однако, надеяться, что в дальнейшем эта лакуна будет заполнена.

Библиография

- 100 еврейских местечек Украины. Вып. 1. Подолия. СПб.: Иерусалимский центр документирования наследия диаспоры, НП «Петербургская иудаика»; Иерусалим: Эзро, 1997.
- 100 еврейских местечек Украины: Исторический путеводитель. Вып. 2: Подолия / Сост. В. Лукин, А. Соколова, Б. Хаймович. СПб.: Иерусалимский центр документирования наследия диаспоры, НП «Петербургская иудаика», 2000. С. 53–84.
- Ганелин Р.Ш., Кельнер В.Е.* Проблемы историографии евреев в России. Вторая половина XIX — первая четверть XX в. // Евреи в России. Исторические очерки. М.; Иерусалим: Мосты культуры — Гешарим, 1994. С. 183–249.
- Лукин В.* К столетию образования петербургской научной школы еврейской истории // История евреев в России. Труды по иудаике. Серия «История и этнография» / Под ред. Д. Эльяшевича. СПб.: Петербургский еврейский университет; Институт исследований диаспоры, 1993. Вып. 1.
- Носенко Е.* Еще раз об антропологии, иудаике и их взаимоотношениях (ответ моим оппонентам) // Диаспоры / Diasporas. 2007. № 1–2. С. 238–246.
- Носенко-Штейн Е.Э.* Антропология и иудаика: возможен ли симбиоз? // Этнографическое обозрение. 2009. № 6. С. 3–7.
- Shternshis A.* Soviet and Kosher. Jewish Popular Culture in the Soviet Union, 1923–1939. Bloomington: Indiana University Press, 2006.

Елена Носенко-Штейн